

**Служба в Вооруженных Силах СССР –  
ДОЛГ СВЯЩЕННЫЙ!  
Обязанность – ПОЧЕТНАЯ!  
Приготовьтесь. Будет жестко!**



**ВАДИМ ЧЕКУНОВ**

**КИРЗА**

**18+**

Вадим Чекунов

**Кирза**

«Magic Dome Books»

2008

## **Чекунов В.**

Кирза / В. Чекунов — «Magic Dome Books», 2008

«Кирза» — это самая смешная и самая трагичная из всех книг, что написаны об армии на русском языке. Вадим Чекунов — и автор, и главный герой, попадающий в вооруженные силы со студенческой скамьи, — пристально наблюдает за собственным духовным перерождением. Каждому, кто сможет прочесть эту печальную книгу до конца, ни разу не рассмеявшись, издательство выражает глубокие соболезнования. Текст романа публикуется в авторской редакции. Книга содержит ненормативную лексику.

# Содержание

Часть первая	6
Часть вторая	34
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# Вадим Чекунов

## Кирза

*«Все это моя среда, мой теперешний мир, – думал я, – с которым хочу не хочу, а должен жить»*

**Ф. М. Достоевский. «Записки из Мертвого дома»**

*Когда Вадим вручил мне свою «Кирзу», с момента моей службы в армии минуло более двадцати лет. И насколько я был поражен и ошарашен тем фактом, что память моя услужливо достала во время прочтения книги все пройденное во время службы: боль и отвагу, ненависть и страх, терпение, силу, и главное – правду! Правду, которая всегда у каждого своя. Сейчас мне кажется, что порой именно тот самый пресловутый юношеский максимализм и слепое безрассудство, с которыми мы служили, верили стране и командирам, помогло нам остаться людьми. Сохранить себя и возмужать. К сожалению, не всем...*

*Алексей Бобл*

Эта книга лицензирована только для вашего личного использования. Эта книга не может быть перепродана или передана другим людям. Если вы хотите поделиться этой книгой с другим человеком, приобретите дополнительную копию для каждого получателя.

Спасибо за уважение к работе автора.

Книга содержит ненормативную лексику. Возрастное ограничение 18+

## Часть первая

### Карантин

#### 1.

В поезде пили всю ночь.

Десять человек москвичей – два плацкартных купе.

На боковых местах с нами ехали две бабки. Морщинистые и улыбочивые. Возвращались домой из Сергиева Посада. Угощали нас яблоками и вареными яйцами. Беспреданно блюющего Серегу Цаплина жалели, называли "касатиком". В Вышнем Волочке они вышли, подарив нам три рубля и бумажную иконку. Мы добавили еще, и Вова Чурюкин отправился к проводнику.

Мордатый гад заломил за бутылку четвертной.

Матерясь, скинулись до сотки, взяли четыре. Все равно деньгам пропадать.

Закусывали подаренными бабками яблоками. Домашние припасы мы сожрали или обменяли на водку еще в Москве, на Угрешке – сборном пункте, где проторчали три дня.

Пить начали еще вечером, пряча стаканы от нашего "покупателя" – белобрысого лейтенанта по фамилии Цейс. Цейс был из поволжских немцев, и в военной форме выглядел сто-процентным фрицем. Крылышки на тулье его фуражки напоминали фашистского орла.

Лейтенант дремал в соседнем купе.

К нам он не лез, лишь попросил доехать без приключений. Выпил предложенные сто граммов и ушел.

Нам он начинал даже нравится.

Вагон – старый, грязный и весь какой-то раздолбанный. Тусклая лампа у туалета.

Пытаюсь разглядеть хоть что-нибудь за окном, но сколько ни вглядываюсь – темень одна. Туда, в эту темень, уносится моя прежняя жизнь. Оттуда же, в сполохах встречных поездов, надвигается новая. Какая она будет? Я не знаю.

Понятно одно – не будет в ней ни знакомого шпиля университета, ни прогулок по смотровой площадке, ни посиделок под бутылку и разговоры о Гумилеве. Не будет знаменитых «Крестов» – общежития на Вернадского, споров о литературе, чтения стихов, портвейна из чашек и сладкого стона однокурсницы на узкой для двоих кровати. Ничего этого не будет.

Сережа Патрушев передает мне стакан. Сам он не пьет, домашний совсем паренек. Уже заскучал по маме и бабушке.

– Тебе хорошо, – говорит мне. – У тебя хоть батя успел на вокзал заскочить, повидаться. Я ведь своим тоже с Угрешки позвонил, и поезда номер, и время сказал. Да не успели они, видать: А хотелось бы – в последний раз повидаться.

Качаю головой:

– На войну что ли собрался?.. На присягу приедут, повидаетесь. Последний раз: скажешь, тоже:

Водка теплая, прыгает в горле. Закуски совсем не осталось.

Рассвело рано и потянулись за окном серые домики и нескончаемые бетонные заборы, местами с кольцами ржавой «колючки» поверху. Ночью прошел дождь, все за окном отсы-

рело. Лязгая, поезд медленно ползет мимо однообразных пакгаузов. На грязно-белой стене трансформаторной будки я вижу выведенную черной краской надпись: «Не жди чудес, блять!» и даже киваю в знак согласия с неизвестным автором. Постройки заканчиваются, и за окном возникает перрон неизвестной станции. Поезд проходит ее без остановки. Плывут в утренней пелене фонарные столбы, кривые скамейки, обшарпанная стена вокзальчика.

У самого конца перрона мы видим десятка два сидящих на корточках людей, с руками, сложенными на головах. Конвой возвышается над ними нелепыми истуканами. Рослый офицер в плащ-накидке стряхивает дождевые капли с планшета. На секунду он оборачивается, бросая раздраженный взгляд на наш поезд.

– О как... – задумчиво говорит кто-то из притихших наших. – Этим-то еще хуже...

Перрон обрывается, начинаются мокрые кусты и высокие штабеля черных шпал. Вдоль полотна бредет, опустив голову и хвост, тощая пегая собака с набухшими сосками.

– Блядь, надо бы выпить еще...

Зашевелились пассажиры, у туалета – толчея. Заглянул Цейс:

– Все живы? Отлично.

Поезд едва тащится.

Приперся проводник, начал орать и тыкать пальцем в газету, которой мы прикрыли блевотину Цаплина. Ушлый, гад, такого не проведешь.

Чурюкин посылает проводника так длинно и далеко, что тот действительно уходит.

Мы с облегчением смеемся. Все будет хорошо. Живы будем – не помрем! Кто-то откупоривает бутылку "Колокольчика" и по очереди мы отхлебываем из нее, давась приторно-сладкой дрянью. "Сушняк, бля! Пивка бы..." – произносит каждый из нас ритуальную фразу, передавая бутылку.

Состав лязгает, дергается, снова лязгает и вдруг замирает.

Приехали.

Ленинград. Питер.

С Московского вокзала лейтенант Цейс отзвонился в часть.

Сонные и похмельные, мы угрюмой толпой спустились по ступенькам станции "Площадь Восстания".

Озирались в метро, сравнивая с нашим.

Ленинградцы, уткнувшись в газеты и книжки, ехали по своим делам.

Мы ехали на два года.

Охранять их покой и сон.

Бля.

В Девяткино слегка оживились – Серега Цаплин раздобыл где-то пива. По полбутылки на человека.

Расположившись в конце платформы, жадно заглатывали теплую горькую влагу. Макс Холодков, здоровенный бугай-борец, учил пить пиво под сигарету "по-пролетарски". Затяжка-глоток-выдох.

Лейтенант курил в сторонке, делая вид, что не видит.

Распогодилось. Лучи июньского солнца гладили наши лохматые пока головы.

Напускная удаль еще бродила в пьяных мозгах, но уже уползала из сердца. Повисали тяжкие паузы.

Неприятным холодом ныло за грудиной. Было впечатление, что сожрал пачку валидола.

Хорохорился лишь Криницын – коренастый и круглолицый паренек, чем-то смахивавший на филина.

– Москвичей нигде не любят! – авторитетно заявил Криницын.

– Все зачморить их пытаются. Мне пацаны, служившие говорили – надо вместе всем держаться. Ну, типа мушкетеров, короче: Кого тронули – не бздеть, всем подниматься! В обиду не давать себя! Как поставишь себя с первого раза, пацаны говорили, так и будешь потом жить...

До Токсово добирались электричкой.

Нервно смеялись, с каждым километром все меньше и меньше.

Курили в тамбуре до одурения. Пить уже никому не хотелось.

Там, на маленьком пустом вокзальчике, проторчали до вечера, ожидая партию из Клина и Подмосковья.

Не темнело непривычно долго – догорали белые ночи.

Под присмотром унтерштурмфюрера Цейса пили пиво в грязном буфете. Сдували пену на бетонный пол. Курили, как заведенные.

Сгребали последнюю мелочь. Чурюкин набрался наглости и попросил у Цейса червонец.

Тот нахмурился, подумал о чем-то и одолжил.

Ближе к темноте к нам присоединились две галдящие оравы – прибыли, наконец, подмосковные и клинчане.

Пьяные в сиську. Некоторые уже бритые под ноль. С наколками на руках. Урки урками.

Два не совсем трезвых старлея пожали руку нашему немцу.

Урки оказались выпускниками фрязинского профтехучилища. Знали друг друга не первый год. Держались уверенно.

Верховодил ими некто Ситников – лобастый, курносый пацан с фигурой тяжеловеса. В каждой руке он держал по бутылке портвейна, отпивая поочередно то из одной, то из другой.

Ожидая автобус из части, мы быстро перезнакомились и скорешились.

Кто-то торопливо допивал водку прямо из горла.

Кто-то тяжело, в надрыв, блевал.

Измученные ожиданием, встретили прибывший наконец автобус радостными воплями.

В выдавший виды "пазик" набились под завязку. Сидели друг у друга на коленях.

Лейтехи ехали спереди. Переговаривались о чем-то с водилой – белобрысым ефрейтором. Тот скалил зубы и стрелял у них сигареты.

По обеим сторонам дороги темнели то ли сосны, то ли ели.

Изредка виднелись убогие домики. Мелькали диковинные названия – Гарболово, Васкелово, Лехтуси...

Карельский перешеек.

Приехали.

Лучами фар автобус упирается в решетчатые ворота со звездами.

Из двери КПП выныривает чья-то тень.

В автобус втискивается огромный звероподобный солдат со штык-ножом на ремне. Ослабился, покивал молча, вылез и пошел открывать ворота.

Все как-то приуныли.

Даже Криницын.

Несколько минут нас везут по какой-то темной и узкой дороге. Водила резко выворачивает вдруг руль и ударяет по тормозам. Автобус идет юзом. Мы валимся на пол и друг на друга. Лейтенанты ржут и матерят водилу.

– Дембельский подарок! – кричит ефрейтор и открывает двери. – Добро пожаловать в карантин! Духи, вешайтесь! На выход!

Вот она – казарма. Темная, будто нежилая. Лишь где-то наверху слабо освещено несколько окон.

Мы бежим по гулкой лестнице на четвертый этаж.

Длинное, полутемное помещение. Пахнет хлоркой, хозяйственным мылом, и еще чем-то приторным, и незнакомым.

Цейс и другие лейтехи куда-то пропали.

Мы стоим в одну шеренгу, мятые и бледные в свете дежурного освещения. Я и Холодков, как самые рослые, в начале шеренги.

Справа от нас – темнота спального помещения.

Там явно спят какие-то люди. Кто они, интересно:

Сержант – человек-гора. Метра под два ростом. Килограммов за сто весом. Голова – с телевизор "Рекорд". Листы наших документов почти исчезают в его ладонях.

Сонными глазами он несколько минут рассматривает то нас, то документы.

Наконец, брезгливо кривится, заводит руки за спину и из его рта, словно чугунные шары, выпадают слова:

– Меня. Зовут. Товарищ сержант. Фамилия – Рыцк.

Мы впечатлены.

Сержант Рыцк поворачивает голову в темноту с койками:

– Зуб! Вставай! Духов привезли!

С минуты там что-то возится и скрипит. Затем, растирая лицо руками, выходит тот, кого назвали Зубом.

По шеренге проносится шелест.

Зуб по званию на одну лычку младше Рыцка. И на голову его выше. Носатый и чернявый, Зуб как две капли воды похож на артиста, игравшего Григория Мелехова в "Тихом Доне". Только в пропорции три к одному.

Мы с Холодковым переглядываемся.

– Если тут все такие... – шепчет Макс, но Рыцк обрывает:

– За пиздеж в строю буду ебать.

Коротко и ясно. С суровой прямою война.

– Сумки, рюкзаки оставить на месте. С собой – мыло и бритва.

– А зубную пасту можно? – кажется, Патрушев.

– Можно Машку за ляжку! Мыло и бритва. Что стоим?

Побросали торбы на дощатый пол.

– Зуб, веди их на склад. Потом в баню.

– Нале-во!

– Понеслась манда по кочкам! – скалится кто-то из подмосковных и получает от Зуба увесистую оплеуху.

На складе рыжеусый прапорщик в огромной фуражке тычет пальцем в высокие кучи на полу:

– Тут портки, там кителя! Майки-трусы в углу! Головные уборы и портянки на скамье! За сапогами подходим ко мне, говорим размер, получаем, примеряем, радостно шеримся и отваливаем! Хули их по ночам привозят? – это он обращается уже к Зубу.

Тот пожимает плечами.

– Ни хера себе ты лапты отрастил! – рыжеусый роется в приторно воняющей куче новеньких сапог. – Где я тебе такие найду?!

У Макса Холодкова, несмотря на мощную комплекцию, всего лишь сорок пятый размер ноги. Он уже держит перед собой два кирзача со сплюсненными от долгого лежания голенищами.

Я поуже Макса в плечах, но мой размер – сорок восьмой.

– На вот, сорок семь, померяй! – отрывается от кучи вещевики. – Чегой-то он борзый такой? – обращается он к Зубу, видя, как я отрицательно мотаю головой.

Младший сержант Зуб скалит белые зубы:

– Сапоги, как жену, выбирать с умом надо. Тщательно. Жену – по душе, сапоги – по ноге. Абы какие взял – ноги потерял!..

аши слова, товарищ прапорщик?

Рыжеусый усмехается. Нагибается к куче.

Связанные за брезентовые ушки парами сапоги перекидываются в дальний угол.

Все ждут.

Наконец нужный размер найден. Все, даже Зуб, с любопытством столпились вокруг и вертят в руках тупоносых, угрожающе огромных монстров.

– Товарищ младший сержант, а у вас какой? – спрашивает кто-то Зуба.

– Сорок шесть, – Зуб цокает языком, разглядывая мои кирзачи. Протягивает мне:

– Зато лыжи не нужны!

Кто-то угодливо смеется.

"Как я буду в них ходить?!" – я взвешиваю кирзачи в руке.

Вовка Чурюкин забирает один сапог и подносит подошву к лицу.

– Нехуево таким по еблу получить, – печально делает вывод земляк и возвращает мне обувь.

Со склада, с ворохом одежды в руках, идем вслед за Зубом по погруженной в какую-то серую темноту части.

Ночь теплая. Звезд совсем немного – видны только самые крупные. Небо все же светлее, чем дома.

Справа от нас длинные корпуса казарм.

Окна темны. Некоторые из них распахнуты, и именно оттуда до нас доносится негромкое:

– Дуу-у-ухи-и! Вешайте-е-есь!

## 2.

Баня.

Вернее, предбанник.

Вдоль стен – узкие деревянные скамьи. Над ними металлические рогульки вешалок. В центре – два табурета. Кафельный пол, в буро-желтый ромбик. Высоко, у самого потолка, два длинных и узких окна.

Хлопает дверь.

Входит знакомый рыжий прапорщик и с ним два голых по пояс солдата. Лица солдат мятые и опухшие. У одного под грудью татуировка – группа крови. В руках солдаты держат ручные машинки для стрижки.

– Все с себя скидаем и к парикмахеру! – командует прапорщик. – Вещи кто какие домой отправить желает, отдельно складывать. Остальное – в центр.

На нас такая рванина, что и жалеть нечего. Куча быстро растет. Но кое-кто – Криницын и еще несколько – аккуратно сворачивают одежду и складывают к ногам. Спортивные костюмы, джинсы, кроссовки на некоторых хоть и ношенные, но выглядят прилично.

Банщики лениво наблюдают.

Голые, мы толчемся на неожиданно холодном полу и перешучиваемся.

Ключьями волос покрыто уже все вокруг.

Криницына банщик с татуировкой подстриг под Ленина – выбрил ему лоб и темечко, оставив на затылке венчик темных волос. Отошел на шаг и повел рукой, приглашая полюбоваться.

Всеобщий хохот.

И лицо Криницына. Злое-злое.

Обритые проходят к массивной двери в саму баню и исчезают в клубах пара.

Доходит очередь и до меня.

– Ты откуда? – разглядывая мою шевелюру, спрашивает банщик. Мне достался второй, поджарый, широкоскулый, с внешностью степного волка.

– Москва, – осторожно отвечаю я.

– У вас мода там, что ли, такая? Как с Москвы, так хэви-метал на голове!

Вжик-вжик-вжик-вжик...

Никакая не баня, конечно, а длинная душевая, кранов пятнадцать.

Какие-то уступы и выступы, выложенные белым кафелем. Позже узнал уже, что это столы для стирки.

Груда свинцового цвета овальных тазиков с двумя ручками – шайки.

Серые бруски мыла. Склизлые ошметки мочалок.

Вода из кранов бьет – почти кипятком.

Из-за пара невидна ничего дальше протянутой руки.

Развлечение – голые и лысые, в облаках пара, не можем друг друга узнать.

Ко мне подходит какое-то чудище с шишковатым черепом:

– Ты, что ль?

Это же Вовка Чурюкин!

– По росту тебя узнал!

– А я по голосу тебя!

Надо будет глянуть на себя в зеркало. Или не стоит?

Выходим в предбанник веселые, распаренные.

Вещей наших уже нет.

Зуб сидит на скамейке и курит. Банщик – Степной волк – подметает пол. У его совка скапливается целая мохнатая гора.

Татуированного и прапорщика не видно.

Мы разбираем форму.

Поверх наших хэбэшек кем-то положены два зеленых пропеллера для петлиц и колючая красная звездочка на пилотку.

– А мои вещи?!

Криницын смотрит то на Зуба, то на Степного волка.

Зуб пожимает плечами.

Степной волк прекращает подметать и нехорошо улыбается:

– А уже домой отправили. Все чики-поки!  
Криницын таращит глаза и озирается на нас:  
– Мужики! Ну поддержите! Это ведь беспредел!  
Зуб поднимается со скамейки и неторопливо выходит наружу.  
– Пойдем. В подсобке твои вещи. Заберешь, – говорит Степной волк в полной тишине.  
– Да не, я так... – Криницын заподозрил неладное. – В общем-то... Хотя нет. Идем! –  
лицо его искажается решительной злобой.

Банщик выходит.

Криницын мнется пару секунд, натягивает трусы-парашюты и следует за ним. На выходе, не оборачиваясь, он делает нам знак – Рот Фронт!

– Совсем ебанулся, – роняет Ситников.

Голубая майка, синие безразмерные трусы, хэбэшка, сероватые полотна портянок – все выдано новехонькое, со стойким складским запахом. Смутное ощущение знакомости происходящего. Не могу вспомнить, где об этом читал. Длинным выдается все маленькое и короткое, а коротышкам – наоборот, пошире и подлинней. У Гашека, в "Швейке", по-моему, так и было.

Влезаем в форму, на ходу меняясь с соседями, кому что лучше подходит.

Негромко переговариваемся. Все заинтригованы судьбой бунтовщика.

Открывается дверь.

Входит Зуб.

Ставит табурет перед нами. Снимает сапог.

– Сейчас будем учиться мотать портянки. Научитесь правильно – останетесь с ногами. Нет – пеняйте на себя. Показываю первый раз медленно и интересно...

Все напряженно наблюдают.

– Теперь повторяем за мной... Еще раз...

Зуб осматривает наши ноги.

– Что это за немцы под Москвой?.. Еще раз!.. Наматывать правильно!

Около меня Зуб удивленно крикает.

За неделю до призыва отец принес из ванной полотенце для рук и неплохо натаскал меня в премудростях портяночного дела.

Спасибо, батя.

Зуб выделяет мне полпредбанника. Приносит второй табурет.

– Показывай этим. А вы смотрите и всасывайте.

Я второй раз в центре внимания.

Невольно я начинаю копировать движения и интонации Зуба:

– Показываю еще раз. Ставим ногу вот так. Этот краешек оборачиваем вокруг ступни.

Но так, чтобы...

В один момент все поворачивают головы в сторону двери.

Входит Криницын. С пустыми руками.

За ним входят Степной волк и татуированный.

Криницын молча поднимает с пола щетку и начинает сметать остатки волос в кучу. Татуированный протягивает ему сложенную газету:

– В бумагу все и на улицу, в бак у двери. Всосал?

Голова Криницына низко опущена. Когда он кивает, кажется, он щупает подбородком свою грудь.

Возвращаемся в казарму под утро уже почти.

Наши сумки лежат на месте, заметно отощавшие.

Стуценку и консервный нож у меня забрали. Осталась мыльница и конверты. Ручки тоже куда-то делись.

Сержант Рыцк подводит нас к рядам коек. Они одноярусные, с бежевыми спинками. В каждом ряду их десять.

Койки составлены по две впритык. В проходах между ними – деревянные тумбочки. По тумбочке на две кровати.

К спинкам коек придвинуты массивные табуреты, вроде тех, на которых нас стригли в бане.

– Отбой! Спать! – Рыцк указывает на табуреты: – Форму сюда сложить! Завтра будем учиться делать это быстро и красиво.

– Товарищ сержант! Во сколько подъем? – Ситников уже под одеялом и крутит во все стороны башкой.

– Завтра – в восемь. А обычно, то есть всегда – шесть тридцать. Спать!

Рыцк вразвалку покидает спальное помещение и скрывается за одной из дверей в коридоре. Всего дверей четыре, не считая входной и двери в туалет. По две с каждой стороны. Что за ними, мы пока не знаем.

С коек неподалеку, где кто-то уже расположился до нас, поднимаются головы:

– Хлопцы, вы звидкиля?

– Москва, область. А вы?

– З Винныци, Ивано-Франківська...

Хохлы...

Не чурки, и то хорошо.

Первый подъем прошел по-домашнему.

Часам к семи почти все проснулись сами – солнце вовсю уже било в окна.

В восемь построились на этаже.

Хохлы показали нам, где стоять. Все из себя бывалые – третий день в части. А так, в общем-то, ребята неплохие.

Всего нас человек пятьдесят.

Рядом со знакомыми уже сержантами стоял еще один – маленький, кривоногий, смуглый и чернявый, младший сержант.

Рыцк провел переключку. Представил нового сержанта. Дагестанец Гашимов. Джамал.

Получили от Гашимова узкие полоски белой ткани – подворотнички.

Головы трещат. Многих мутит.

Зуб поинтересовался, хочет ли кто идти на завтрак.

– Прямо как в санатории! – лыбится Ситников.

Меня он начинает раздражать. И, оказывается, не меня одного.

– Завтра я такой санаторий покажу!.. – мечтательно произносит Рыцк. – Всю матку тебе наизнанку выверну!

– А у меня ее нет! – пытается отшутиться Ситников.

Видно, что он растерян.

– Зуб! – рявкает сержант Рыцк.

На ходу стянув ремень и намотав конец его на руку, Зуб подбегает к Ситникову и смачно прикладывает его бляхой по заднице.

Ситников падает как подстреленный, и еще несколько минут елозит по полу, поскуливая сквозь закушенную губу.

На завтрак никто идти не захотел.

Сержанты не возражали, но приказали съесть все оставшиеся харчи.

– Пока крысы до них не добрались, – объяснил Зуб. – Они у нас тут вот такие! – раздвинув ладони, младший сержант показал какие. – Больше, чем кот, мамой клянусь! Вот такие!

Когда Зуб улыбается, он похож на счастливого и озорного ребенка.

До обеда подшивались, гладили, драили сапоги и бляхи, крепили на пилотки звездочки.

Толстый и какой-то весь по-домашнему уютный хохол Кицлюк научил меня завязывать на нитке узелок. Он же показал, как пришивать подворотничок, чтобы не было видно стежков.

Разглядывали свои физиономии в зеркале бытовой комнаты.

Я даже и не подозревал, какой у меня неровный и странный череп. Уши, казалось, выросли за ночь вдвое.

"Мать-то на присягу приедет, испугается", – невесело думаю я, поглаживая себя по шероховатой голове.

Знакомились с казармой.

Помещение состоит из двух частей.

Административная часть начинается у входа – тумбочка дневального, каптерка, ленинская и бытовая комнаты. Отдельно – канцелярия. Коридор – он же место для построения. Напротив входной двери – сортир. В нем длинный ряд умывальников, писсуар во всю длину стены. Шесть кабинок с дверками в метр высотой. Вместо унитазов – продолговатые углубления с зияющей дырой и рифлеными пластинами по бокам – для сапог. Сверху – чугунные бачки с цепочками.

Спальное помещение делится пополам широким проходом – "взлеткой".

Койки в один ярус, по две впритык. Лишь у самого края взлетки стоят одиночные, сержантские.

Построились на этаже.

Знакомимся с командиром нашей учебной роты – капитаном Щегловым.

За низкий рост, квадратную челюсть и зубы величиной с ноготь большого пальца капитан Щеглов получает от нас кличку Щелкунчик.

К нашему ликованию, его замом назначен Цейс.

Стоит наш унтерштурмфюрер, как и положено – ноги расставлены, руки за спиной. Тонкое лицо. Острые льдинки голубых глаз под черным козырьком.

Щеглов по сравнению с ним – образец унтерменша.

– Здравствуйте, товарищи! – берет под козырек Щелкунчик.

Строй издает нечто среднее между блеянием и лаем.

Щелкунчик кривится и переводит взгляд на Цейса.

– Задача ясна! – коротко роняет Цейс. – Рыцк, Зуб, Гашимов! После обеда два часа строевой подготовки. Отработка приветствия и передвижения в строю. Место проведения – плац.

– Есть!

В столовую нас ведут, когда весь полк уже пообедал.

Из курилок казарм нам свистят и делают ободряющие жесты – проводят ладонью вокруг шеи и вытягивают руку высоко вверх.

Мы стараемся не встречаться с ними взглядом.

– Головные уборы снять!

Просторный зал. На стенах фотообои – березки, леса и поля. Горы.

В противоположной от входа стороне – раздача.

Пластиковые подносы. Алюминиевые миски и ложки. Вилки нет. Уже наполненные чаем эмалевые кружки – желтые, белые, синие, некоторые даже с цветочками.

Столы из светлого дерева на шесть человек каждый. Массивные лавки по бокам.

Удивительно – грохочет музыка. Из черных колонок, развешанных по углам, рубит "АС/ДС".

Обед – щи, макароны по-флотски, кисель. Все холодное, правда. Полк-то уже отобедал.

Повара на раздаче – налитые, красномордые, – требуют сигареты.

Полностью обед съедает лишь половина из нас.

– Домашние пирожки еще не высрали! – добродушно улыбается сержант Рыцк. Озабоченно вскидывает брови: – Ситников! Ты чего так неудобно сидишь? Сядь как все! Не выделяйся! В армии важно единообразие!

Рота хохочет.

Ощущения от строевой – тупость, усталость, ноги – два обрубка.

Одно хорошо – каждые полчаса пять минут перекур.

Вытаскивали распаренные ступни из кирзовых недр и блаженно шевелили пальцами.

Злой и хитрый восточный человек Гашимов дождался, пока разуются почти все и командовал построение. Мотать на ходу портянки никто не умел, совали ноги в сапоги как придется, и следующие полчаса превращались в кошмар.

Вечером – обязательный просмотр программы "Время".

Проходит он так.

Телевизор выносится из ленинской комнаты – туда все вместе мы не помещаемся. Ставится на стол, стоящий в самом конце взлетки.

Мы подхватываем каждый свою табуретку, и бежим усаживаться рядами по пять человек.

На синем экране появляется знакомый циферблат, и я с грустью думаю о том, что еще только девять, отбой через полтора часа, а спать хочется безумно. Нас всех, что называется, "рубят". Сидящий за мной Цаплин упирается лбом мне в спину. Кицлюк вырубается и роняет голову на грудь сразу после приветствия дикторов. Чей-то затылок впереди покачивается и заваливается вперед.

Речь дикторов превращается в бормотание, то громкое, то едва слышимое.

"Мы так соскучились по тебе, сынок!" – говорит мне мама. "Как ты устроился там? Все хорошо?" Я почти не удивляюсь, молча киваю и хочу сообщить, что завтра собираюсь написать письмо...

Что-то хлестко и больно ударяет меня по лбу.

Я вздрагиваю и открываю глаза.

Зуб и Гашимов направо и налево раздают уснувшим "фофаны" – оттянутым средним пальцем руки наносят ощутимый щелбан.

Получившие мотают головой и растирают ладонью лоб.

По завершении экзекуции сержант Рыцк, загородив мощным телом экран, объясняет правила просмотра телепередач:

– Кто еще раз заснет, отправится драить "очки". Сидим ровненько. Спинка прямая. Руки на коленях.

Все выпрямляются и принимают соответствующую позу.

Рыцк продолжает:

– Рот полуоткрыт. Глаза тупые.

Мы переглядываемся.

– Что непонятно? – угрожающе хмурится Рыцк.

Открываются рты. На лицах появляется выражение утомленной дебильности.

Сержант удовлетворенно кивает:

– Смотрим ящик!

Отходит от экрана. Там какие-то рабочие шуруют огромными кочергами в брызжущей искрами топке. Или хер его знает, как она там называется.

Спать. Спать. Спать.

Дневальный выключает свет.

Еще один день прошел. Долгий, тягучий, он все равно прошел.

Хотя духам и не положено, у всех заныканы календарики, где зачеркивается или прокальвается иголкой каждый прожитый в части день.

Мне становится нехорошо, когда до меня доходит, что здесь мне придется сменить аж три календаря – этот, за 90-ый год, потом один целиком за 91-ый, и еще половину 92-ого.

Бля.

### 3.

В сумраке спального помещения появляется фигурка Гашимова.

Вкрадчивым голосом Джамал произносит:

– Будим играт в игру "Тры скрыпка". Слышу тры скрыпка – сорок пат сикунд падьем.

Кто-то из хохлов вскакивает и начинает бешено одеваться.

– Атставыт! Я еще каманда не сказал.

Все ржут.

Взявший фальстарт укладывается обратно в койку.

Тишина.

Кто-то скрипнул пружиной.

– Раз скрыпка! – радостно извещает Гашимов.

Правила игры уясняются. Тут же кто-то скрипит опять.

– Два скрыпка!

Гашимов расхаживает по проходам.

– Щас какой-нибудь козел обязательно скрипнет, – шепчет мне с соседней койки Димка Кольцов. Не успевает он договорить, как разом раздастся несколько скрипов, и вопль Гашимова:

– Сорок пат сикунд – падьем!

Откидываются одеяла, в темноте и тесноте мы толкаемся и материмся, суем куда-то руки и ноги, бежим строиться, одеваясь и застегиваясь на ходу.

– Нэ успэли! Сорок пат сикунд – атбой!

Отбиваться полегче. Главное – правильно побросать одежду, потому что не успели мы улечься, как звучит: "Сорок пат сикунд – падьем!" – Атбой! Падьем! Атбой!..

Где-то через полчаса, потные, с пересохшими глотками, мы лежим по койкам.

Тишина.

Лишь шаги Гашимова.

Откуда-то слева раздается скрип пружин.

– Раз скрыпка!

Пару минут тишина. Я вообще стараюсь дышать через раз.

Какая-то сука повернулась.

– Два скрыпка!

Еще.

– Тры скрыпка! Сорак пат сикунд падъем!

Уже на бегу в строй, Ситников орет мне и Макс:

– Это хохлы скрипят! Я специально слушал! Пиздюлей хотят!

– Сорак пат сикунд отбой!

Во мне все клокочет. Злость такая, что я готов кого-нибудь задушить. Гашимова, Кольцова с Ситниковым, хохлов – мне все равно.

Я не одинок.

– Суки, хохлы! Убью на хуй, еще кто шевельнется! – орет сквозь грохот раздевающейся роты спокойный обычно Макс Холодков.

– Пийшов ты на хуй, москалына! – доносится с хохляцких рядов.

Мы вскакиваем почти все – лежат лишь Патрушев и Криницын.

Расхватываем табуреты.

В стане врага шевеление. Хохлы растерялись, однако табуреты тоже разобрали и выставили перед собой.

Как драться – все одинаковые. в трусах и майках... Темно: Где свои, где чужие...

– Ааа-а-а-ай-я-я-а! – младший сержант Гашимов маленьким злым смерчем врывается в ряды. В правой руке бешено крутится на ремне бляха. – Крават лэжат быстро, билат такие! Павтарат нэ буду! Буду убывать!

Ряды дрогнули.

Поставили мебель на место. Быстро нырнули под одеяла.

Паре человек Гашимов все же вlepил бляхой.

Для снятия напряжения.

Утром хохлы признались, что думали то же самое на нас.

Сашко Костюк, лицом походивший на топор-колун, хлопает Ситникова по плечу:

– Бачишь, чуть нэ попыздылись из-за хэрни такой, а?!

Ситников дергает плечом:

– Погоди еще...

Костюк оказался добродушным и бесхитростным парнем.

Правда, ротный наш его не любит.

Ротного Костюк изводит ежедневной жалобой: "Товарышу капытан! А мэнэ чоботы жмут!" – В Советской армии у солдат нет чоботов! – багровеет всякий раз Щелкунчик и зовет на помощь то Цейса, то сержантов: – Убрать от меня этого долбоеба! Обучить великому и могучему! А этого хохляцкого воляпука я чтобы в своей роте не слышал больше! Придумали себе язык, еб твою мать! "Чоботы-хуеботы!" "Струнко-швыдко", блядь! И, главное, не стесняются!

С Костюком мы попали потом в один взвод.

Весь первый год службы Сашко имел славу "главного проебщика". Все, что ни попадало в его руки, непостижимым образом выходило из строя или терялось. Если он одалживал на пару часов ручку, например, или иголку, можно было смело идти покупать новые. Костюк был неизбежным злом и разорением.

Удивительная метаморфоза произошла с ним на втором году.

Нам предстал обстоятельный, рачительный владелец всего, что нужно.

Подшива, гуталин, щетки, письменные и мыльно-рыльные принадлежности, причем высокого качества – все имелось в наличии.

Друзьям всегда выдавал все по первой просьбе.

Если хотелось пожрать или курнуть – опять выручал Костюк.

Было у нас подозрение, что вовсе не терял и не ломал он вещи на первом году. Просто шел процесс первоначального накопления.

Хохол есть хохол.

С хохлами у ротного какие-то свои счеты.

На теоретических занятиях его жертва обычно Олежка Кицьлюк, или просто Кица – толстый, похожий на фаянсовую киску-копилку хохол из Винницы. Тот самый, что учил меня подшиваться.

– Что за деталь? – тычет Щелкунчик указкой в схему АК-74.

– Хазовая трубка, – обреченно отвечает Кица.

Щелкунчик щелкает челюстью.

– Михаил Тимофеевич Калашников просто охуел бы на месте, когда бы узнал, что такая важная деталь его детища, как газовая трубка переименована каким-то уродом в "хазовую".  
Еще раз – какая деталь?!

– Та я ж ховорю – хазовая трубка.

– Наряд вне очереди!

– За шо?

– Два наряда вне очереди!

– Йисть!

Сам капитан Щеглов родом из Днепропетровска. Но русский.

Вообще, часть на половину состояла из хохлов. Другая половина – молдаване и русские. Чурок, или зверей, было всего несколько человек. И тех призвали из Московской области, после окончания училищ и техникумов.

Не такие уж чурки они оказались. Были среди них нормальные пацаны. Хотя, говорили, все чурки нормальные, пока в меньшинстве.

Первая зарядка прошла на удивление легко, без потерь.

Впереди, как лоси на гону, мощно ломались Рыцк и Зуб. Гашимов чабанской собакой сновал взад-вперед, не позволяя строю растягиваться.

Бежали природой – вдоль озера и через лес.

Утро солнечное, но прохладное.

Кросс три километра и гимнастические упражнения на стадионе.

Сдох лишь Мишаня Гончаров, горбоносый парнишка из Серпухова. Его полпути тащили по очереди то я, то Макс Холодков.

Бегущий сбоку Гашимов ловко пинал Мишаню по худосочной заднице.

Мишаня беспомощно матерился и всхлипывал.

Почти все после зарядки решили бросить курить.  
Некоторые умудрились не курить аж до обеда.

К вечеру привезли партию молдаван.

Чернявые и зашуганные, они толпятся на конце взлетки, у стендов с инструкциями и планам занятий. Со страхом и любопытством разглядывают нас. Мы принимаем позы бывалых солдат.

Привез молдаван сержант по фамилии Роман. С ударением на "о". Тоже молдаванин. Или цыган. Разница, в общем, небольшая.

Нам он сразу не понравился. Глумливо улыбается как-то. В темных глазах – нехороший огонек. Привезенные им парни вздрагивают от одного его голоса.

Роман стал нашим четвертым сержантом.

– Неважно, как вы служите. Главное – чтоб вы заебались! – представляясь, объявил он нам.

Мне все больше начинает нравиться краткость и прямота воинских высказываний.

Так, наверное, говорили в фалангах Александра Великого.

Так, возможно, изъяснялись римские легионеры.

Строевая. Опять строевая.

– Раз! Раз! Раз-два-три! Рота!

Мы переходим на строевой шаг.

– Кру-го-о-ом! Марш!

Налетаем друг на друга. Третью колонну продолжает куда-то шагать.

Идет второй час строевой подготовки. Рыцк удрученно чешет подбородок.

Внезапно его осеняет:

– Роман! Ну-ка, бери своих земляков в отдельный взвод!

Молдаване, понурые, уходят на другой конец плаца.

– Равняйся! Смирно! Ша-а-гоо-о-ом! Марш!

Дело значительно налаживается.

Через полчаса Рыцк объявляет перекур.

Мы сидим, вытянув гудящие ноги и наблюдаем за упражнениями молдавского взвода. Тех уже мотаает из стороны в сторону. Озираясь, Роман отвешивает нескольким бойцам подряд оплеухи. Пара пилотов слетает и падает на плац.

К землякам своим сержант Роман относится пристрастно.

Одно из его высказываний звучит так: "Земляка ебать – как на Родине побывать!"

В армии немало шуток про молдаван. И почему они соленые огурцы не едят, и как они ботинки надевают... Но я никогда не задумывался, с какой стати именно им приписываются такие вещи. Ведь о ком угодно таких анекдотов налепить можно.

Но именно тут постигается смысл выражения: "В каждой шутке лишь доля шутки".

Наблюдал однажды, как рядовой Вэлку мыл пол в штабе части.

К делу он подошел ответственно: налил воды в ведро, взял швабру, намочил тряпку... И пошел тереть. Перед собой.

Идет и усиленно трет. Через несколько метров оборачивается и грустит – на чистом и влажном линолеуме отпечатки его грязных сапог.

Рядовой Вэлку решительно разворачивается и отправляется вытирать следы. Шваброй, естественно, он орудует перед собой. Доходит до того места, откуда начал, довольно улыбается, переводит дух, оборачивается...

Мне показалось, он искренне негодовал. Даже сжал ручку швабры до белизны пальцев...

Если ты чего-то не понимаешь, "тормозишь" или делаешь какую-нибудь глупость, вначале вкрадчиво интересуются:

– Ты что, молдаван?

Хотя "тормоза" встречаются среди всех.

Но самым выдающимся, о ком впоследствии слагались легенды, был тихий, щупленький и неприметный паренек из Орловской области Андрюша Торопов.

Пожалуй, ему в карантине тяжелее всех.

Пять часов ежедневных индивидуальных строевых занятий способны из кого угодно сделать идиота с оловянными глазами, четко и тупо, на одних рефлексах, выполняющего получаемые команды.

Но только не Андрюшу Торопова. Применительно к нему поговорка про зайца, которого можно научить курить, дает сбой.

Для понятий "лево", "право" в его голове места не находится. Текст присяги дальше слов "вступая в ряды" объем его памяти усвоить не позволяет.

Сержанты работают с ним испытанным, казалось бы, ежовско-бериевским методом – конвейером, сменяя друг друга каждый час. Капитан Щеглов приказал любым способом подготовить бойца к присяге.

Зуб фломастером нарисовал Андрюше на кистях рук буквы "Л" и "П". Этакие "сенокосола" на современный лад. При команде, например, "Нале-во!" предполагалось, что боец посмотрит на свои руки, увидит, на какой из них буква "Л", соответствующая понятию "лево" и повернется в требуемую сторону.

Андрюша же угрюмо рассматривает свои руки и затравленно двигает губами.

Потом поворачивается кругом.

Роман на второй уже день отказался его бить, сославшись на бесполезность метода и полученную травму руки.

Последним сдалась даже такая глыба, как сержант Рыцк.

Занимаясь как-то с Андрюшей поворотами на месте в ленинской комнате (снаружи шел сильный дождь), Рыцк заявил, что у него поседели на заднице волосы, сплюнул на пол, и уже выходя, в сердцах бросил, указывая на огромный гипсовый бюст Ленина в углу:

– Если ты, Торопов, такой мудака, подойди и стукнись головой о Лысого! Может, поумнеешь хоть чуть-чуть после этого.

И, собираясь хлопнуть дверью, в ужасе обернулся.

Чеканным строевым шагом рядовой Торопов подошел к гипсовой голове вождя, отклонился чуть назад...

Два лба – мирового вождя и орловского паренька, соединились.

Удар был такой силы, что вождь развалился на две половины, каждая из которых разбилась потом об пол на более мелкие части.

Рыцк перепугался тогда не на шутку.

Замполит полка, подполковник Алексеев, долго выискивал подоплеку антисоветского поступка солдата. Вел с ним задушевные разговоры. Угощал чаем. Потом кричал и даже замалчивался.

Андрюша хлопал глазами. Обещал, что больше не повторится.

Самые нехорошие слова замполит уже произносил не в его адрес, а врачей призывной комиссии.

На стрельбище, зная успехи Андрюши в изучении матчасти, народ ждал зрелища.

Андрюша не подвел.

Автомат ему зарядил лично начальник полигона, заявив, что до пенсии ему год, и поэтому "ну его на хуй!".

Бойца под белы ручки уложили на позицию, и с опаской подали оружие.

С двух сторон над ним нависли Щеглов и Цейс. Помогли справиться с предохранителем.

Тах! Тах! Тах!

Тремя одиночными Торопов отстрелялся успешно, запулив их куда-то в сторону пулеулавливающих холмов.

Дитя даже улыбнулось счастливо.

Следующее упражнение – стрельба очередью по три патрона. Всего их в магазине осталось девять. Три по три. Все просто.

Потом Щеглов и Цейс долго еще спорили до хрипоты, кто из них прозевал.

Андрюша решил не размениваться. Выпустил одну длинную. Все девять.

Причем при стрельбе он умудрился задрать приклад к уху, а ствол, соответственно, почти упереть в землю.

Земля перед ним вздыбилась пылью.

Народ оторопел.

Упасть догадался лишь начальник полигона. Остальные тоже потом попадали, но когда все уже закончилось.

Чудом рикошет не задел никого.

Визгливо так, истерично посмеивались.

Сдержанный ариец Цейс оттаскивал от Андрюши капитана Щеглова.

Тот страшно разевал зубастый рот и выкрикивал разные слова. Слово "хуй" звучало особенно часто.

Где бы еще, как не в армии, благодаря рядовому Андрюше Торопову я понял истинное значение глагола "оторопеть"?

Когда на присягу к Андрюше приехал отец, совершенно нормальный, кстати, мужик, к нему сбежалось чуть ли не все командование части. Главный вопрос задал наслышанный о новом подчиненном командир части – полковник Павлов:

– Что же нам теперь делать-то, а?..

– Подлянку вы нам сделали, уважаемый папаша, большую! – добавил Щелкунчик.

Андрюшин отец виновато вздохнул и изрек:

– Я с ним восемнадцать лет мучился. Теперь вы два года помучьтесь. А я отдохнуть имею право.

И уехал.

#### 4.

В курилке к нам подходит ухмыляющийся Цейс.

– Почти каждый из вас, – усаживаясь на скамью, говорит он, – где-нибудь через полгода заведет себе блокнотик, куда будет вписывать всякие солдатские афоризмы.

– Це шо? – удивляется Костюк.

Цейс смотрит на меня.

– Ну, крылатые фразы там, выражения, – объясняю я Сашко. – Поговорки, приколы всякие...

– Вот-вот, – Цейс разминает в тонких пальцах сигарету. – И про ефрейтора, и про службу, про лошадь, про книгу жизни: Знаете такое? Типа, жизнь – это книга, а армия – две страницы, вырванные на самом интересном месте.

– А разве не так? – Ситников щелкает зажигалкой и подносит ее Цейсу.

Цейс прикуривает и выпуская дым, внимательно оглядывает нас, будто видит впервые.

– Кому как, – наконец, отвечает он. – У тех, кто так говорит, убогая какая-то жизнь получается. Две страницы – это два года. Год равен странице, так? Ну, а всего страниц этих сколько в книге получится? Шестьдесят, семьдесят? Восемьдесят с небольшим, если повезет? Это не книга, это брошюрка получается хиленькая. А некоторые, – сдувает с кончика сигареты пепел Цейс, – могут годы службы превратить в два интересных тома в полном собрании сочинений своей жизни. Но это я так, к слову: – будто спохватывается лейтенант и встает. – А вот про лошадь это совсем глупость!

– За два года солдат съедает столько овса, что ему стыдно смотреть в глаза лошади! – хвастает эрудицией Гончаров.

Цейс усмехается:

– Вот я и говорю, что глупость. Завтра – марш-бросок. Пятнашка. Это пустяк!

– Пятнадцать километров? – в ужасе переспрашивает кто-то.

– Для начала – да. А потом – побольше. Так что лошадям в глаза можете смотреть на равных! – уходя, улыбается лейтенант. И добавляет:

– Если пробежите, конечно.

Автомат. Подсумок с двумя магазинами, слава Богу, пустыми. Противогаз. Саперная лопатка, малая. Фляга с водой. На голове – неудобная и тяжеленная каска.

Топот. Хрипы. Пыль. Пот.

Лопатка бьет по ногам, норовя попасть по паху. По спине и заднице лупит приклад автомата.

– Не растягиваться!

Мама, роди меня обратно!

– Га-а-зы!

Куда же, блядь, деть каску?!

Бежим по каким-то оврагам с пожухлой травой. Вверх – вниз, вверх – вниз:

Подбегаем к знаменитой в части Горе Дураков, она же – Гора Смерти. Подъем градусов в тридцать – тридцать пять, долгий, нескончаемый. Его заставляют преодолевать гуськом, с поднятым над головой автоматом.

В моем противогазе что-то уже хлопает. Пальцем оттягиваю резину с подбородка и на горло и грудь вытекает не меньше стакана пота. Пытаюсь немного отвинтить бачок фильтра и с жадным сипением ловлю приток воздуха.

– Я щас кому-то покручу! – раздается рядом рык Рыцка.

От испуга чуть не падаю, но, оказывается, это не мне. Рыцк подловил кого-то другого. Коротким тычком кулака бьет провинившегося в резиновую скулу. Пока тот трясет в недоумении противогазной мордой, Рыцк добавляет ему ногой в живот и снова кулаком, на этот раз по спине.

"Залетевший" – мне кажется, это тот самый Патрушев, что уже в поезде скучал по маме и бабушке, – подламывается в коленях, падает и елозит в пыли.

Наш унтерштурмфюрер безучастно наблюдает за ним, взлохмачивая прилипшую ко лбу белобрысую челку.

Я везунчик. Осознание этого придает мне немного сил. Каким-то чудом все же добегаю до казармы.

Утром следующего дня заметил, что ремень висит на мне совершенно свободно.

Позже почти каждый день приходилось подтягивать бляху еще и еще.

Лейтенант Цейс оказался маньяком военного дела. От беспрестанной разборки и сборки автомата Калашникова пальцы наши были сбиты в кровь.

– Предмет, который вы держите сейчас в руках, – говорил Цейс в начале занятий, – является неотъемлемым фактом русской культуры. Таким же значительным, как наша великая литература. Или знаменитый балет. Наука, наконец. Человек, не умеющий обращаться с автоматом Калашникова, не имеет права называться культурным человеком. Осознайте этот факт.

– А как же душманы? – спросил я. – Они-то с "калашом" на "ты", но вот с культурой...

Цейс снисходительно улыбается:

– В Древней Греции необразованным считался человек, не умеющий плавать. Однако, человек, который только и умеет, что плавать, вообще за человека не считался.

И что тут возразить?

Все-таки в немцах, даже в поволжских, эта страсть сортировать людей, похоже, неистребима.

Цейс обожает гонять нас по ПП – полосе препятствий.

Больше всего полоса походит на огромную дрессировочную площадку для крупных собак.

Полдня мы метали учебные гранаты-болванки, не вылезали из бетонных окопчиков, бегали вокруг стен с пустыми окнами, прыгали через ямы, подныривали под перекладины, со страхом поглядывая на высоченные щиты, через которые, ухватившись за край, надо было перелезть.

Толстый Кица с размаху бился о преграду и жалобно смотрел на Цейса. Тот неумолимо приказывал повторить. Кица снова шел на таран...

Особенно меня пугала пробежка по высоко расположенному – два с лишним метра – узкому бревну. Ступни просто не помещались на него. Я поделился этим с Пашей Рысиным.

Паша – низенький крепыш с татарским лицом, меня подбодрил:

– Чего бояться-то? Ну, ебнешься вниз... Подумаешь!.. А вдруг повезет и сломаешь чего-нибудь? А? В санчасти проваляешься, а там – не здесь... А лучше всего – ногу сломать, – аж зажмурился от мечтаний Пашка. – Тогда точно, в Питер, в госпиталь отправят.

Самое смешное, что это помогло.

Правда, никто из нас ничего так и не сломал. Даже Торопов.

Его на ПП вообще не пускают.

Санчасть – предел наших мечтаний.

С утра надо записаться у дневального в особый журнал. После обеда один из сержантов ведет строем человек пятнадцать – двадцать к расположенному недалеко от бани одноэтажному домику из светлого кирпича.

Принимают нас две медсестры – офицерские жены из военгородка. Одна пожилая, лет под сорок. Другая моложе. Обе блеклые, страшненькие.

Но мы все равно пялимся на них без стеснения. Особенно на ноги. Все-таки единственные женщины, которых мы видели за все это время.

Жалобы у всех стандартные – стертые до кровавых мозолей ноги, больные головы и животы. В стационар с таким не попадешь.

Изредка с медсестрами сидит начмед – майор Рычко.

– А-а! Полу-однофамилец пожаловал! – приветствует он всегда нашего Рычка. – Давай, заводь болезных! Сейчас я их оптом лечить буду!

Больных майор Рычко, как и положено военврачу, ненавидит. Даже с температурой под сорок – а со мной случилось именно это, майор поначалу пытался выпереть в роту с таблеткой аспирина. Долго и придирчиво осматривал меня водянистыми глазами. Бледные губы его при этом беззвучно шевелились.

Ходят слухи, что майор дважды переболел белой горячкой.

В анналы истории части Рычко вошел после истории со стоматологическим креслом.

Какая-то проверочная комиссия обнаружила, его, кресла, отсутствие. Доложили командиру.

Тот вызвал начмеда.

Через полчаса обиженный майор, покидая штаб, пожаловался дежурному по части:

– Батя говорит, будто я пропил стоматологическое кресло. А ведь это не так.

Майор горестно вздохнул. Укоризненно покачал головой:

– Это совсем не так. Я просто обменял его на дополнительный спирт. Вот и все.

Заглаживая вину, Рычко повадился зазывать к себе вечером в кабинет Батю – командира полка полковника Павлова, красивого, породистого мужика с грустными глазами сенбернара.

Павлов, как это часто бывает с людьми порядочными и хорошими, сгорел от спирта за несколько лет.

А майор Рычко до сих пор жив.

Подполковник запаса.

Сука.

В санчасти же я и Мишаня Гончаров – у того случилось расстройство желудка – проходим лечение трудотерапией.

Из длинного списка правил, висящих в коридоре санчасти, мне запомнилось лишь одно: "Привлекать больных к труду, как к процессу, ускоряющему выздоровление".

Нас и привлекают.

Мы дернуем тропинки.

Где-то на задворках казарм вырубам лопатами огромные пласты дерна, грузим их на старую рваную плащ-палатку и волоком, обливаясь потом на страшной жаре, тащим к протоптанным в неположенных местах тропинкам. Укрываем эти тропинки дерном, придавая земле первозданно-девственный вид.

Мишаня, как обычно, матерится и поносит всех и вся. Я же смиренно думаю о смерти, которая должна была наступить не позже обеда.

Благодаря трудотерапии Мишаня действительно выздоровел к вечеру.  
К обеду следующего дня попросился на выписку и я.

Вечерняя поверка.

Сержант Рыцк тычет ручкой в журнал.

– Ты и ты! Завтра дневальные.

– Есть!

– Дежурный по роте – младший сержант Гашимов.

– Иест.

Мой первый наряд. Тумбочка.

И вот я на ней стою. Не на ней, конечно, а рядом. На тумбочке телефон. За моей спиной стенд с инструкциями. Над головой тарелка часов.

Ночь.

Гашимов спит на заправленной койке. Раз в полчаса он просыпается и проходит по взлетке туда-сюда. Каждый раз я поражаюсь кривизне его ног. Гашимов подмигивает и снова отправляется спать.

Через час мне будить Цаплина. Ему повезло – спит с двух до шести. Встанет за полчаса до подъема.

Скука.

Ночью, если не спишь, всегда хочется жрать. И курить.

Пожрать нечего.

Зато в пилотке заныкана сигарета.

Мне немного стыдно, что зажал ее от Цаплина, Ну, да ладно.

Осторожно, на цыпочках, подхожу к полуприкрытой двери на лестницу и торопливо курю мятую и кривую "приму".

Аккуратно бычкую и прячу окурочку обратно в пилотку – Цаплину на пару тяг, после подъема.

Звонит телефон.

В два прыжка возвращаюсь к тумбочке и хватаю трубку.

– Учебная рота...

– Как служба, сынок? – интересуется чей-то хрипловатый голос.

– Ничего пока, – машинально отвечаю. – А кто это?

В трубке усмеваются:

– Когда спрашивают: "Как служба?" положено отвечать: "Вешаюсь!". Впитай это, а то после присяги заебут.

Я впитываю.

– А сколько прослужил уже? – опять любопытствует голос.

– Неделю почти... Опять подвох какой-то? – я даже рад возможности поболтать.

– Подво-о-ох?... – удивились в трубке. – Слово-то какое... Наебка, обычно говорят... Ты сам откуда?

– Москва.

– А я с Воронежа. Слышал такой? Почти земляки. Вот так-то.

Я молча киваю.

– Я, зема, чего звоню-то... Попрощаться. Последнюю ночь тут провожу. Утром в штаб, за документами, и все!.. Дембель у меня, прикинь! Послезавтра дома буду!

– Завидую! – искренне говорю.

– Вот и решил позвонить в учебку. У тебя-то все впереди. Но, зема, не кисни. Дембель неизбежен, как заход солнца! Удачи тебе! Давай!

– Счастливо.

Положив трубку, я присел на краешек тумбочки.

Бывает же такое... Не все из них звери.

На тумбочку нам звонят постоянно. Из казарм, с КПП, с объектов. Отовсюду, где есть телефон. "Сколько?" – рявкает в трубке устрашающий голос. Нужно назвать оставшееся до ближайшего приказа количество дней. "Вешайтесь, духи!" – блеют нам в ответ.

Проблема в том, что звонили и деды, и черпаки. Последним, соответственно, до приказа на полгода больше.

– Кому? – спрашиваю, стоя на тумбочке во второй раз. – Деду или черпаку?

Трубка захлебывается руганью.

– Ты, душара, сам знать должен! Попробуй только ошибись, сука! Ну! Сколько?!

– Вешайся! – отвечаю.

В трубке что-то квакает. Обещают сейчас же прийти и убить.

– Приходи.

Кладу трубку.

До конца наряда в мандраже.

Никто не пришел.

Некоторые пытаются вынести из столовой куски "чернушки", черного хлеба – его, в отличии от пайкового белого, выставляются целые подносы. Прячут в карманах сахар.

Сержанты устраивают внезапные обыски.

К найденным кускам добавляется целая буханка. Весь хлеб приказывают сожрать за несколько минут. Нормативы разные. Всухомятку – пять минут. С кружкой воды – две. Иногда предлагают выбирать самому.

Удивительно – знают ведь, что не уложатся, а все равно пытаются, запихивают огромными кусками, давятся, блюют...

За невыполнения "норматива" получают по полной.

С сахаром любит развлекаться сержант Роман. Заставляет зажать кусок зубами и бьет кулаком снизу в челюсть. Бывает, сахарные крошки вылетают вперемешку с зубными.

Каждый раз, обыскивая меня, Роман по-детски удивляется:

– Длинный! Как же так – тебя голод не ебет, что ли? Вон какой ты лось! Чего хлеб не нычешь?

– У меня метаболизм замедленный, – обычно отвечаю я.

К научным словам сержант Роман испытывает уважение. Молча бьет меня кулаком в грудь и переходит к следующему.

Сержант Роман отличается удивительным мастерством. В долю секунды он может нанести пару коротких и точных ударов по скулам провинившегося. Да так удачно, что не оставляет синяков. Челюстные же мышцы у жертвы на пару дней выходят из строя.

Получивших свое от Романа легко вычислить в столовой – они не едят второе, а осторожно, вытянув губы, пытаются пить с ложки суп.

По-южному веселый и задорный, Роман щедро награждает нас, духов, "орденом дурака". Суть заключается в следующем.

На выданной нам форме металлические, со звездами, пуговицы крепятся к сукну специальной петелькой-дужкой.

Роман, как эсэсовец Мюллер из "Судьбы человека", проходит вдоль шеренги на вечерней поверке и размеренно, с силой и неумолимостью парового молота, каждого бьет кулаком в третью пуговицу сверху.

Через несколько таких проверок на груди расплывается синяк размером с блюдце. В центре – маленькая черная вмятина от дужки.

Ее, эту самую дужку, я загнул, прижав к основанию пуговицы, в первый же день, по совету, полученному на гражданке от отслуживших уже друзей. Синяка у меня почти не было, да и вкладывал мне Роман не сильно. Так, для формы.

Неделю спустя, после бани, я поделился секретом с Мишаней Гончаровым. Уж очень пугающе выглядел его "орден".

Где знают двое... Через несколько дней, на утреннем осмотре, Роман заставил всех расстегнуть третью пуговицу. Приказал отогнуть петлю обратно. А за порчу казенного имущества мы отбивались на время часа полтора.

На этих "орденах" сержант Роман и погорел.

Наступила жара, и на зарядку мы побежали по форме номер два – голый торс.

Мимо шел замполит полка.

С Романа сняли лычки и отправили в кочегарку. Не в печь, к сожалению, а старшим смены.

## 5.

Мы сидим в бытовой и подшиваем подворотнички. Самое трудное – правильно натянуть их на ворот гимнастерки. С каждым днем подворотнички становятся почему-то все короче и короче. От ежедневной стирки и сушки утюгом вид у них замусоленный и жалкий.

Подшивой – белой тканью, нам, духам, до присяги подшиваться не положено. После, когда из духов мы станем бойцами, разрешается подшиваться тоненьким, в два раза сложенным куском материи.

Черпаки и деда подшиваются в несколько слоев, больше пяти. Выступающий кантик выглядит у них красивой белой линией. На внутренней стороне, у сходящихся концов, стежками обозначаются флажки – один у черпака и два у деда.

У нас никаких изысков нет, поэтому выглядим мы, как и положено – по-чмошному.

Входит Криницын.

– Вот! – потряхивает он измятым тетрадным листком. – Выпросил у Зуба. Он мне надиктовал, а я записал.

Круглое лицо его разрезает довольная улыбка.

– Это поважней будет, чем присягу учить! "Сказочка" называется! Зуб сказал, что деда сразу, как нас в роты переведут, ее спрашивать наизусть будут. Кто не знает – по сто фофанов отвесить могут.

Листок идет по рукам. Доходит и до меня. Я вглядываюсь в торопливые криницынские каракули. Разбираю следующее:

*Масло съели – день начался.  
Старшина ебать примчался.  
Мясо съели – день идет.  
Старшина ебет, ебет.  
Рыбу съели – день прошел.  
Старшина домой ушел.  
Дух на тумбочке стоит  
И ушами шевелит.*

– Это что за херня? – поднимаю глаза на Криницына.

Тот снисходительно улыбается:

– Так я же говорю – "сказочка". Ее дедушкам на ночь заставляют рассказывать. Мне Зуб объяснил все и прочитал ее. Чтобы мы, это... Ну, готовы были. После присяги-то...

Продолжаю читать:

*Дембель стал на день короче,  
Спи старик, спокойной ночи!  
Пусть приснится дом родной,  
Баба с пышной пиздой!  
Бочка пива, водки таз,  
Димки Язова приказ  
Об увольнении в запас.  
Чик-чирик-пиздык-ку-ку!  
Снится дембель старику!*

Возвращаю листок.

– Ну, что, – говорю, – неплохо. Фольклор, как ни как. Не шедевр, конечно. Но четырех-стопный хорей почти выдержан. Произведение явно относится к силлабо-тонической системе стихосложения.

– А? – по-филински вращает головой Криницын, тараща глаза то на меня, то на других.

– Учить, говорю, легко будет. Давай! После отбоя мне расскажешь. С выражением.

С каждым словом завожусь все сильнее. От нестерпимого желания съездить Криницыну по роже сводит лопатки и зудит спина. Чувствую, как приливает к лицу кровь.

Вовка Чурюкин трогает меня за плечо:

– Остынь, чего ты...

Чем ближе к присяге, тем дерганей мы становимся. Уже вспыхивало несколько коротких драк. Любая мелочь способна вывести из себя.

Холодкова и Ситникова с трудом разнял даже Рыцк. Те катались по полу, орошая все вокруг красными брызгами из разбитых носов. Рыцк вlepил им по три наряда, и заставил пол-ночи драить "очки". А подрались они из-за очереди на утюг, не договорившись, кто гладится первым.

Правда, теперь они не разлей вода. Вместе ходят по казарме и задирают молдаван и хохлов. Повадками и голосом "косят" под Рыцка и Зуба. Совсем как я в первую ночь в бане.

– А ты, типа, у нас невебенно старый? – Криницын бледнеет и делает ко мне шаг. – Или охуенно умный? А-а! Ну да! Ты же у нас студент!

Но в драку лезть не решается, и лишь еще больше таращит глаза.

– Вот и погоняло у тебя тогда будет – Студент! – вдруг объявляет он и прячет листок в карман. – Я им как друзьям принес... Помочь чтобы... Ну и хуй с вами!.. Живите как хотите!

Криницын поворачивается к выходу.

Наваливается на него человек пять сразу. Мне едва удастся достать пару раз кулаком до его рожи – мешают руки других.

На шум вбегают Гашимов и Зуб.

Каждый из нас поочередно отрабатывает наказание – "очки". Все шесть грязно-белого цвета лоханей необходимо тщательно натереть небольшим куском кирпича. Так, чтобы "очко" приобрело равномерно красный оттенок.

Рыцк лично принимает качество работы. Если ему не нравится, смываешь из ведра и начинаешь по новой.

Чурюкин пытается схитрить. Он уже успел заметить, что обломок кирпича всего лишь один, и когда очередь доходит до него, трет пару минут "очко" и роняет кирпич в сливное отверстие. Огорченно вздыхает и отправляется докладывать Рыцку. На его физиономии огорчение и сознание вины. Перед выходом из сортира Чурюкин нам подмигивает. Мы, те, кто уже сдал свои "очки", драим тряпочками медные краники в умывальной.

Благодаря Чурюкину мы узнаем, что такое "ловить динозаврика".

Вот Вовка, сняв китель, стоит на коленях у покинутого было "очка" и запустив в него руку почти по плечо, пытается нашарить и извлечь упущенное казенное имущество. За его спиной, положив ему руку на затылок, стоит Рыцк и методично отвешивает звонкие фофаны.

– На каждую крученную жопу найдется хер с винтом, – говорит нам сержант Рыцк. – Правда, бывает, что задница не только крученая, но и с лабиринтом...

Рыцк выдерживает паузу.

– Но у сержанта даже на такую жопу найдется хуй с закорюкой! – заканчивает он. – Правда, Чурюкин?

Кличка "Студент" ко мне так и не прижилась. Не знаю, почему. Рожей, наверное, не вышел.

Как владельца самых больших сапог прозвали просто Кирзачом.

Кличек было много, но не у каждого. В основном не мудрили – за основу бралась фамилия.

Кицылюк стал просто Кица, Макс Холодков – Холодец, Ситников – Сито. Цаплин – конечно, Цаплей. Вовка Чурюкин – просто и незатейливо – Урюк.

Гончарова за вредный характер звали Бурый.

Кто-то, как Паша Рысин, из города Ливны, он же Паша Секс, притащил кликуху с гражданки.

А "сказочка" разошлась все-таки по роте.

Гашимов, которому на дембель лишь через год, заменил в ней "старика" на "черпака" и с удовольствием выслушивает от желающих. По-восточному щедрый, за хорошее исполнение угощает чтеца сигаретой.

Желающие всегда находятся.

Меня в "сказке" веселит многое, но особенно – "баба с пышной пиздой". Представляется что-то кустодиевско-рубенсовское, как раз во вкусе основного контингента рабоче-крестьянской.

Блядь, ну что же мне в универе не училось-то...

Женатого Димку Кольцова, жилистого и высокого паренька из Щелково, мучают каждую ночь поллюции.

Точнее, ночью-то они его не мучают, а даже наоборот. А вот по утрам, когда надо вскочить и откинуть на спинку кровати одеяло и простынь, Димка страдает.

С треском отдирает себя от простыни и ныряет в брюки, прикрывая белесые разводы на трусах.

Труссы нам выдаются всегда новые, "нулевые". Они отчаянно линяют и красятся. Вся простынь Димки заляпана сине-голубыми пятнами.

– Я привык, дома, со своей, каждую ночь... – смущается Кольцов. – А тут и не вздрочнешь ведь нигде. Куда ни сунься – везде кто-нибудь торчит...

Наши койки стоят рядом.

– Ты, Димон, ночью только, того... не перепутай!.. А то полезешь спросонья! – говорю я ему обычно после отбоя. – Я ведь твой боевой товарищ, а не...

– Иди на хер!.. – грустно вздыхает Димка.

Самое вкусное на завтраке – это пайка.

На алюминиевом блюдечке два куска белого хлеба, кругляшок желтого масла и четыре куска рафинада.

Пшеничка плохо проварена, но мы рубаем ее с удовольствием.

– Кому добавки?! – страшным голосом вдруг орет один из поваров с раздачи.

Все смотрят на сержантов.

Те кашу вообще не берут никогда, едят только пайку.

Рыцк разрешающе кивает.

У раздачи столпотворение.

Высрались, видать, пирожки домашние.

Каша сплошь в черных зернах, мелких камешках и непонятном мусоре. На зубах противно скрипит. Наиболее подозрительные вкрапления я извлекаю черенком ложки на край миски.

Вова Чурюкин говорит, что это крысиное дерьмо.

Очень может быть.

Рядом со мной сидит Патрушев. Ковыряя ложкой в тарелке, он говорит мне:

– Видал, сколько всего тут. А вот у меня дома бабушка сядет, очки наденет, на стол пакет высыпет, и тю-тю-тю-тю... – Патрушев шевелит пальцами, – переберет все, чтобы чистая крупа была. Не то, что здесь...

Патрушев вздыхает.

Сидящий напротив Мишаня Гончаров неожиданно злится:

– А ты, бля, походи к сержантам, скажи им, что тебе не нравится! А еще лучше – на кухню попросись, вместо бабушки своей будешь! Тю-тю-тю! – передразнивает Патрушева Мишаня. – Глядишь, к дембелю управишься!

– Ну, Бурый, чего ты... Я так, просто... – снова вздыхает Патрушев. – Дом вспомнил.

Я смотрю на его мягкое, безвольное лицо и мне становится жаль парня.

"Как он будет служить?" Я знаю, что под гимнастеркой у него до сих пор не сошел внушительный "орден дурака".

Любимец сержанта Романа.

– Что ты смотришь на меня глазами срущей собаки?! – орал обычно Патрушеву Роман. Бил он его сильно.

Размер части мне до сих пор точно неизвестен. Ясно, что часть не маленькая.

От КПП до здания штаба идет дорога длиной почти в километр. Бордюры – здесь его называют по-питерски "поребрик", – выкрашен в красно-желтую полосу.

По обочинам – высаженные через равные промежутки березы.

У штаба дорога разветвляется и меняет окраску поребрика. Желто-зеленый пунктир ведет к клубу и казармам, их четыре, двухэтажные, из светлого кирпича. Возле каждой казармы – крытая курилка со скамейками вокруг врытой в землю бочки. Несколько жестяных щитов с плакатными солдатами, стоящими на страже родины.

Уютный домик, окруженный елками – санчасть. За ней – вещевой склад и баня с котельной.

Дорога с черно-белым поребриком огибает столовую и продсклад, уходя куда-то дальше, за холм. Там еще никто из нас не был.

Наша учебная рота проживает в отдельной казарме, четырехэтажной. Мы на верхнем, а три этажа под нами пустые.

Наверное, чтобы мы по лестнице туда-сюда получше бегать научились. Или чтобы злые "дедушки" к нам в окно не залезли.

За нами – склады ГСМ и автопарк, справа от них – здание караулки и темные башенки постов. Еще дальше – множество деревьев, целый лес. Над их верхушками видны крыши каких-то секретных корпусов, сплошь в разлапистых антеннах.

Перед казармой – огромный асфальтовый плац. Здесь нас каждый день дробят строевой. Готовят к присяге.

За плацем – спортгородок. Турники, брусья, беговая дорожка вокруг пыльного футбольного поля. Там же – полоса препятствий.

Левым своим краем спортгородок выходит к небольшому озерцу. Вода немного затхлая, цвета потемневшей меди. Сгнивший деревянный пирс длиной в несколько метров. На берегу лежат перевернутые вверх дном обшарпанные лодки.

Наш Цейс говорит, что раньше в курс молодого бойца входили водные занятия тоже, но несколько воинов едва не утонули, и решено пока повременить.

Есть подсобное хозяйство с коровами, свиньями и курами. Предмет гордости командования – свежее мясо и яйца на солдатском столе. До нас же почему-то доходят лишь хрящи и жилы.

Полигоном и стрельбищем гордятся меньше. Мы там были всего дважды, и, как сказал Цейс, еще пару раз побываем там за все время службы.

Территория части, по крайней мере, знакомая нам, обнесена бетонным забором с ржавыми крючьями поверху. На них витки колючей проволоки, провисшей и местами оборванной. Роль "колючки" скорее декоративная, но все равно радости мало.

Дни пошли не то, чтобы быстрее... Но впечатление новизны начало уступать место рутине, усталости и тоске.

Это как при путешествии поездом, особенно, если впервые. Сначала все кажется необычным и значимым – гул голосов на вокзале, запах угля на перроне, форма проводника, купе, соседи-попутчики... Рассматриваешь все с интересом. Вникаешь в устройство откидных полок и замка в дверке купе. Прилипаешь к окну, разглядывая проплывающий мимо унылый, в общем-то, пейзаж. Куришь в холодном тамбуре, поглядывая на такую удобную, манящую дернуть ее со всей силы, ручку стоп-крана в темно-красном гнезде. Бродишь по составу, хлопая металлическими дверьми. Сидишь в вагоне-ресторане.

И вдруг замечаешь, что от всего этого ты смертельно устал, и кругом лишь грязь, грохот, лягз, стук колес, чужие, неприятные тебе люди, сквозняки и подобно лиловой туче, растущей на горизонте, в душу заползает тревога. Что ждет тебя?.. Кто встретит?.. Куда ты? Куда?

И что-то мелькает за грязным окном, кто-то храпит на верхней полке, на столике нет места от пустых стаканов и объедков: Да-да! да-да! да-да! да-да! – вбивается, вгрызается в тебя песня колес, и уже нет тоски, нет тревоги, а усталость одна и томящее ожидание – быстрее бы приехать уже...

Завтра присяга.

По части бродят приехавшие уже к некоторым родители.

Поразила мать Костюка – совсем старуха, в каких-то длинных юбках и серых платках. Привезла два просто неподъемных баула – яблоки, сгущенка, колбаса кровяная, домашняя. Сало, конечно, а как же без него...

Казарма завалена жратвой и куревом.

За несколько недель успели отвыкнуть от обычной еды.

Жрем все сразу – колбасу запиваем сгущенкой и заедаем копченым салом с шоколадными конфетами вдогонку.

Многих с непривычки здорово несет – сортирные очки постоянно заняты. Не справляясь с возросшей нагрузкой, забиваются. Дневальные, матерясь, то и дело пробивают их.

Наблюдаю за ними и чувствую почти счастье, что сегодня не в наряде.

Дима Кольцов, мы сидим с ним в курилке, сегодня грустнее обычного.

– Я вот подумал тут, – раскуривает от окурка новую сигарету Дима. – Завтра мои приедут. Щелкунчик обещал, мне с Натахой комнату дадут в общежитии, до вечера. Да разве этого хватит... Но я о другом. К тебе мать приедет. К Максиму невеста... К хохлам, вон, наприезжало уже сколько!.. Ко всем почти кто-нибудь приедет.

Дима сосредоточенно курит.

– Брат у меня, старший, на фельдшера учился. В морге практику проходил. Рассказывал мне: Вот там вскрытие знаешь как проводят?.. Нет?.. И лучше тогда и не знать... Потом, конечно, приоденут, подкрасят. Родным и близким выставят. Церемония прощания. Все так чинно. Гроб по транспортеру за шторы уезжает... А там тебя из прикида твоего – раз! И опять голышом в общую кучу. Сверху следующего. Штабелями...

– Димон, ты чего это?.. – я передергиваю плечами.

– А то, что уж больно схоже все. Вот наши на нас полюбуются, всплакнут даже. А мы такие все в парадке, при делах. Командиры речь толкнут. Праздничный обед в столовой, говорят, будет. Чем не поминки? А потом родителей за ворота выставят. И то, что тут с нами потом будет, лучше бы им не знать...

Я докуриваю почти до фильтра.

"Если я попаду сейчас, все будет хорошо," – загадываю желание и щелчком отправляю окурок в урну.

Он пролетает высоко над ней, шлепается на чисто подметенный асфальт дорожки и укачивается куда-то по дуге порывом ветра.

– Умеешь ты людей развеселить, Дима! – мне не хочется смотреть на приятеля.  
Дима молчит.

Завтра, в восемнадцать ноль-ноль, нас разведут по ротам, в расположение полка.

Я уже знаю, что зачислен во взвод охраны. Со мной туда идут еще семь человек.

Последний день карантина. С завтрашнего дня – совсем другая жизнь. И это только начало.

## Часть вторая

### Духанка

#### 1.

Нам ничего нельзя.

Нельзя садиться на кровать. Нельзя совать руки в карманы. Нельзя расстегивать крючок воротника, даже в столовой.

Чтобы войти в бытовую, ленинскую или каптерку, мы обязаны спросить разрешения находящихся там старых.

Иногда говорят "заходи", иногда – "залетай!"

Если последнее, то отходишь на несколько шагов, растопыриваешь руки, и изображая самолет, вбегаешь.

В туалете курить нельзя, могут серьезно навалить. Только в курилке, и только с разрешения. Да и то дается время – например, минута. Как хочешь, так и кури.

Все наши съестные припасы – "хавчик" – а так же сигареты и деньги из нас вытрясли. Оставили мелочь и конверты с тетрадками.

Посещать чипок – солдатскую чайную, – нам тоже не положено.

Нельзя считать дни собственной службы – не заслужили еще. Но мы все равно считаем.

А вот старому ты в любой момент должен ответить, сколько ему осталось до приказа. Проблема – не спутать старого с черпаком. Иначе навешают такую кучу фофанов, что голова треснет.

Ремни затянули нам еще туже, чем в карантине. Пригрозили, что если кто ослабит, затянут по размеру головы. Кое-кому из наших в других ротах так уже сделали. Берется ремень, замеряется по голове от нижней челюсти до макушки, сдвигается бляха и приказывают надеть.

Получается балерина в пачке цвета хаки.

Пилотку тоже заставляют носить по-особому. Не как положено – чуть набок и два пальца над бровью, а натянув глубоко на голову.

Называется – "сделать пизду".

Фофаны раздаются направо и налево.

Но по сравнению с "лосем" это ерунда.

"На лося!" – орет кто-нибудь, замахиваясь кулаком.

Скрещиваешь запястья и подносишь тыльной стороной ко лбу.

В образовавшиеся "рога" получаешь удар. Опускаешь руки и говоришь: "Лось убит! Рога отпали! Не желаете повторить?" Если желают, все повторяется.

Есть еще разновидность "лося" – "лось музыкальный". Медленно скрещивая руки, должен пропеть: "Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь!.." Получив, разводишь руки в стороны и продолжаешь: "Все мне ясно стало теперь!.."

Вторично принимали присягу. На этот раз "правильную". Ночью в туалете.

Выстроили всех со швабрами в руках на манер автомата.

Мы читаем такой текст:

*Я салага, бритый гусь!  
Я торжественно клянусь:  
В самоходы не ходить,  
Про домашнюю про хавку  
Основательно забыть.  
Деньги старым отдавать  
Шваброй ловко управлять.  
Службу шарить и рюхать  
Я клянусь не тормозить,  
Стариков своих любить!*

Тут мне уже не до силлабо-тоники.

На душе мерзко. Не знаешь, чем все это закончится.

В темном окне я вижу наше отражение. Лысые, в майках, трусах и сапогах. Со швабрами у груди.

Остро пахнет потом и хлоркой. В туалете холодно. Снаружи идет дождь и мелкие капли влетают в раскрытую форточку.

Я, Макс и Паша Секс стоим у самого окна, и наши плечи покрыты холодной влагой. Чуть дальше остальные – Кица, Костюк, Гончаров и Сахнюк. Нет только Чередниченко – того заслали куда-то.

Страшно и противно.

– А теперь целуем вверенное вам оружие! – командует Соломонов, длинный и худющий черпак. – Что не ясно?! Целуем, я сказал!

Одна за одной швабры подносятся к губам.

Кица нерешительно разглядывает деревяшку и получает пинок в голень.

Нога его подламывается в колене, он охает и опирается о швабру. Мощный, мясистый Коныхов бьет его в грудь.

Мы с Максом переглядываемся.

По идее, имеющимся у нас "оружием" мы можем попробовать отмудохать всю собравшуюся толпу. Но это если не зассым и нас поддержат другие. А судя по лицам, не поддержат.

Вспомнился Криня, Криницын с его "один за всех и все за одного". Первый же и получил, едва в часть попал. И никто за него не вписался.

– Там, в спальном, еще человек сорок, – негромко говорит нам уловивший наши мысли Паша Секс.

– Ты чо там пиздишь?! – Соломон подбегает и бьет Пашу в голень.

Паша кривится, но терпит.

От Соломона несет перегаром. Глаза карие, мутные и пустые. Нижняя губа отвисает. Вид у него удивленного дебила.

Паша бросает швабру на мокрый кафель и негромко говорит:

– Я целовать швабру не буду.

Надо что-то делать.

Голос у меня срывается, я злюсь на это, и сипло выдавливаю:

– Я тоже.

– Та-а-ак!.. – тянет Соломон и оборачивается к батарее. На ней восседает сержант в накинутом на тельняшку парадном кителе.

– Колбаса! – кричит сержант в приоткрытую дверь туалета.

Колбаса – шнур, солдат, прослуживший полгода, вбегает почти сразу же.

Борода, такая кличка у сержанта, скидывает китель ему на руки и командует: – Съебал!

Колбаса расторопно исчезает.

Борода словно нехотя слезает с батареи и не спеша подходит к нам. Разглядывает всех троих.

Я так хочу ссать, что все мысли об одном – не обмочиться бы прилюдно.

– А ты? – спрашивает Борода Макса.

Макс быстро подносит древко швабры к губам, обозначая поцелуй. Борода треплет его по шее и отталкивает в сторону.

Теперь мы с Пашей у окна вдвоем.

Макс стоит и смотрит куда-то вниз и в сторону.

В карантине он злился на полученную кличку и не отзывался на нее.

Теперь кличка подкрепилась поступком. Здоровый, спортивный малый за месяц с небольшим превратился в трясущийся студень.

В Холодец.

Борода бьет умело, и становится ясно – долго мы не продержимся. Особенно ловко сержант орудует ногами. Мы то и дело отлетаем к умывальникам, натываясь на чьи-то руки, и нас выталкивают обратно.

Меня впервые бьют вот так, равнодушно, расчетливо и без ответа с моей стороны. Был бы другой момент – я бы посмеялся. Одна из причин, почему меня поперли из универа – драка в общаге.

Неожиданно побои прекращаются, и нас больше не трогают, лишь заставляют отжиматься под счет.

Делай раз! Опускаешься к полу. Делай два! Выжимаешь тело вверх. Делай раз!.. Делай два-а!..

Соломон харкает на пол, и теперь мое лицо прямо над его харкотинной. Когда я опускаюсь, я вижу в мелких пузырьках отражение тусклых и желтых сортирных ламп.

Главное – не упасть.

Борода меняет тактику:

– Так, Секс и Длинный отдыхают. Все остальные – упор лежа принять!

Вот это хуже. Называется – воспитание через коллектив. Твои товарищи начинают смотреть на тебя со злобой уже через пять-десять минут.

Криню, я слышал, избивали вчера свои же. На зарядке Криня заявил, что устал. Его насильно оставили отдыхать, а остальных загоняли так, что те еле доползли до казармы. После отбоя старые усадили Криню на табурет, а вокруг него отжимались другие. Под Кринин счет.

Потом старые ушли, сказав: "Разбирайтесь сами." На Крине живого места не осталось.

Судорожно пытаюсь найти выход, хоть что-то сказать. Ничего не могу, лишь страх, один только страх... Пашка, кажется, ушел в себя и отрешенно наблюдает за происходящим.

Мы оба понимаем, что влезли в большую залупу, и теперь можем надеяться лишь на чудо.

Я пробую вспомнить лицо печального дедушки с бумажной иконки, что подарили нам в поезде бабки-богомолки. Куда делась иконка, и как звали изображенного на ней старика, я не помню.

Почему-то мне кажется, что это был Никола-Угодник.

Никаких молитв я не знаю, поэтому просто прошу его помочь.

– Шухер! – вбегает дневальный. – Дежурный идет!

– Быстро по койкам! – командует Борода. – Суки, резче, резче!

Мы несемся в спальное помещение.

Лупя нас кулаками по спинам, следом бегут деды.

Все успевают улечься, но дежурный, какой-то капитан, долго еще расхаживает по казарме, словно заподозрив что-то.

Постепенно все засыпают.

Фамилия капитана, потом я узнал, была Соколов.

Много позже мы сильно сблизимся, до дружбы. Несмотря на разницу в возрасте и званиях.

Но это потом. А сейчас я проваливаюсь в тяжелый короткий сон.

Подшивались ночью, или просили дневального разбудить за полчаса до подъема.

Костенко, плотный, как племенной бычок, сержант, если обнаруживает на утреннем осмотре грязный подворотничок, отрывает его одним махом и заставляет раз десять, на время, подшивать и отрывать его снова.

На жалкие оправдания он реагирует всегда одним вопросом:

– А мэнэ цэ ебэ? – и тут же отвечает сам себе: – Мэнэ цэ нэ ебэ!

Щетины у меня почти нет. Но бриться приходится каждую ночь. Если заметят на подборке хоть пару волосков, могут побрить полотенцем.

Некоторые из нашего призыва уже испытали это на себе.

На лицо натягивают вафельное полотенце для рук и быстрыми движениями дергают его с двух сторон туда-сюда. Человек вырывается, не в силах терпеть жжение, но держат крепко.

Кожа лица потом багровая, саднит с неделю.

Уборка помещения. Не знаешь, где ты сдохнешь – на зарядке, или тут, в казарме.

– Ще воды! – орет сержант Костенко Мы – я, Паша Секс и Кица – в замешательстве. Под каждую койку уже вылито по ведру. Вода огромной лужей растекается по спальному помещению, не успевая стечь в щели пола.

Костенко бьет сапогом по ведру в моих руках.

– Ще воды, я казав!

Грохоча ведрами, бежим в туалет.

Ведра выливаются в проходы между койками.

– Стягивать! – отдает команду Костенко. – Три минуты времени!

Плюхаемся на карачки и начинаем гнать тряпками воду в угол. Там Сахнюк и Гончаров собирают ее и выжимают в ведра.

Тряпки разбухшие, тяжелые и осклизлые. Воду они уже не впитывают, отжимай – не отжимай.

Пальцы у всех нас красные, скрюченные. Руки сводит судорога.

Главное, пока стягиваешь воду, не повернуться к Костенко задом. Иначе от пинка полетишь в лужу и сам будешь как тряпка.

Все это называется "сдача зачета по плаванию".

За две недели, что мы во взводе, на такой "зачет" мы нарываемся уже не первый раз. Малейшее недовольство качеством уборки – и "плавание" обеспечено.

Особенно любит принимать зачеты сержант Старцев, Старый. Если Костя ограничивается двумя-тремя ведрами под каждую кровать, то Старый заставляет выливать не меньше пяти. Но сейчас он в наряде на КПП, поэтому у нас относительно сухо.

Во взводе три сержанта – Костя, Старый и Борода. Костя и Старый осенью уходят на дембель. Борода – младший сержант Деревенко – черпак.

"Я вас буду ебать целый год!" – дружелюбно подмигнул нам Борода в первый день нашего появления во взводе. И в ту же ночь подкрепил слова делом.

Пытался приморить меня и Секса за отказ от "присяги". Два дня не давал нам продыху, пока не вступился Костенко.

"Уймись, Борода!" – набычился немногословный Костя. "Пока это мой взвод. И мои бойцы. Всосал?"

Сплюнув на пол, Борода отвернулся.

Несмотря на хохляцкую фамилию, Борода – стопроцентный молдаван из города Бендеры. Да еще дружит с Романом, главным теперь по котельной. Чем-то они даже похожи – наверное, нехорошим безумием в глазах и той радостной улыбкой на лицах, когда прибегают к насилию.

Ходит Борода вразвалку, немного сутулясь при этом и размахивая широко расставленными руками. Невысокий, но мускулистый, жилистый. Движения – от нарочито небрежных до стремительно-точных, особенно при ударах. Похоже, на гражданке чем-то боевым он занимался.

Сержант любит читать. Часто вижу его лежащего с книгой на перед заступлением в наряд. Что он читает, спросить не решаюсь, но название одной книги удалось подсмотреть. Я ожидал что-нибудь из научной фантастики, и просто опешил, увидев: "А. Чехов. Дама с собачкой. Рассказы".

Не прост этот молдаван, совсем не прост.

Бриться Бороде приходится дважды в день – утром и перед построением на обед. Через пару часов после бритья лицо его снова аж синее все от щетины. За это, видать, у него и такая кликуха.

Между призывами – дедами и черпаками – идет борьба авторитетов.

У дедов, или старых, за плечами которых полтора года службы, авторитет выше. Но черпаки стараются своего не упускать тоже. Между молотом и наковальней находимся мы, бойцы.

"Ко мне!" – орут тебе с разных концов казармы. Если позвал один, тут же зовет второй. "Э, воин, ты охуел?! Я сказал – ко мне!" Игра в перетягивание каната.

Пометавшись, бежишь все-таки к старому.

"Ну, су-у-ука..." – зло щурит глаза черпак. "Помни, падла – они уйдут, а я останусь!"

Сейчас Бороды во взводе нет. На вторые сутки он заступил в караул.

Свободна от наряда лишь треть взвода – мы, бойцы, Костя и несколько старых – Пеплов, Дьячко, Самохин и Конюхов.

Пепел и Самоха из Подмосковья, из какого-то неизвестного мне Голутвино. Оба без лишних слов заявили, чтобы я сразу вешался, потому что москвичей они будут гноить с особым удовольствием.

Пепел – плечистый, с чуть рябоватым и каким-то озлобленным лицом. Его земляк Самоха – белозубый, вечно с дурацкой улыбкой, болтливый и подвижный. Энергия бьет в нем через край, и лучший для нее выход, конечно, мы – бойцы.

Дьяк и Конь – здоровые, внешне флегматичные. Но Конь может в любую минуту подойти и "пробить фанеру" – так захватить кулаком в грудь, что отлетаешь на несколько метров. При этом Конь подмигивает и ободряюще кивает: ничего, мол, мелочи жизни:

Дьяк тоже мастер в этом деле, но любит поставить в метре от стены – чтобы отлетев от удара, ты приложился еще и об нее головой.

Дьяк откуда-то с Украины, по-моему, из Ивано-Франковска. Бендеровец, в общем. Но говорит по-русски чисто. Окончил десятилетку и поступал в Москве в Тимирязевку, но недобрал двух баллов.

Наш взвод состоит из трех отделений и именуется взводом охраны. На тумбочку и "дискотеку", то есть на мытье посуды в столовую, не заступает. Караул, КПП, штаб и патруль – места нашей будущей службы.

Сашко Костюк, Макс Холодков и Саня Чередниченко по кличке Череп, сейчас стоят на КПП.

Пока стажерами.

Это значит – сутками, без сна, на воротах.

Взводом командует прапорщик Воронцов Виктор Петрович. Ворон.

Плотный, с мощной шеей и огромным животом. Низкий лоб, массивные надбровные дуги и тяжелая челюсть делают его похожим на знаменитые репродукции Герасимова первобытного человека.

У Воронцова, по его собственным словам, за плечами пять образований. Начальная школа, вечерняя школа, школа сержантов, школа прапорщиков и школа жизни.

Солдат он называет ласково "уродами", "монстрами" и "ебаными зайчиками".

Одно из развлечений взводного – имитировать половой акт с дикторшами телевидения.

Этим он здорово скрашивает просмотр программы "Время".

Стоит несчастной появиться на экране крупным планом, как Воронцов обхватывает телевизор руками, прижимается животом к экрану и делает характерные движения.

При этом он запрокидывает голову и раскатисто хохочет.

Ширинку, слава Богу, не расстегивает.

Отец двух дочерей – толстеньких, но симпатичных, тринадцати и пятнадцати лет.

"Жалобы какие имеются?" – каждое утро на разводе спрашивает нас Ворон.

В ответ на молчание поглаживает себя по животу и кивает: "Ну и правильно! Жаловаться в армии разрешается лишь на одно – на короткий срок службы." Одно из любимых его высказываний:

– Солдат не обязан думать! Солдат обязан тупо исполнять приказания!

Сморкается прапорщик следующим образом. Наклонясь вперед и чуть вбок, зажимает волосатую ноздрю и ухх-х-хфф! – выстреливает соплю на асфальт. Если тягучая субстанция не отлетает, а повиснув под мясистым носом, начинает раскачиваться туда-сюда, он неспеша подцепляет ее большим пальцем и рубящим движением руки сбрасывает вниз. После чего достает из кармана носовой платок и тщательно вытирает пальцы.

"В целях экономии имущества и содержания его в чистоте" – поясняет он, аккуратно складывая и убирая платок.

Появляется во взводе редко. Дыша перегаром, ставит на разводе боевую задачу и исчезает. Зато обожает завалиться в казарму после ужина и учинить разгром тумбочек – навести уставной порядок.

Служба вся держится на сержантах и неуставщине.

Как и полагается.

Мы, однопризывники, начинаем понемногу узнавать друг друга. То, что не проявилось в карантине, вылезает наружу здесь.

Сахнюк родом из Днепропетровска. Утиный нос, маленькие вечно воспаленные глазки, низко скошенный лоб, безвольный подбородок и истерично сжатые губы. Сам невысокий, ноги несуразно короткие. Ходит как-то странно, размахивая руками и подав корпус вперед. "Ему бы челку с усами отрастить, и вылитый Гитлер!" – хмыкнул как-то раз Борода и кличка прилепилась к Сахнюку намертво.

Челку ему, понятно, отрастить не дали, а вот под нос заставляли прилеплять квадратик черной изоленты, и после отбоя Сахнюк изображал фюрера. Влезал на табуретку и, вскидывая правую руку, орал что есть мочи: "Фольксваген! Штангенциркуль! Я-я! Натюрлих!" Как-то раз попробовал отказаться, был избит в туалете и полночи простоял на табуретке с приклеенными усами, отдавая гитлеровский салют жрущим картошку старым.

На просьбу оставить покурить Гитлер реагирует нервно. Делает быстрые глубокие затяжки и, уже передавая, словно раздумав, возвращает сигарету в рот и затягивается еще несколько раз.

– Ну, хохлы! – усмехается Паша Секс, принимая от него замызганный окурочек. – Вот уж оставил, так оставил: "Докуры, Пэтро, а то хубы пэчэ!" – передразнивает Пашка хохляцкий говор.

Толстый Кица, Костюк, Паша и я сдружились еще в карантине и держимся вместе. С Холодцом я стараюсь не общаться, его постоянное присутствие рядом сильно тяготит. Ту ночную присягу простить ему я не могу. Макс, похоже, виноватым себя не чувствует. Бороду он боится панически, подшивает его и Соломона кители, заправляет и расстилает их койки.

Однако терпеть земляка пришлось недолго.

Холодца неожиданно избил Саня Чередниченко, Череп. Что они не поделили – осталось тайной. Здоровенного бугая Макса Холодкова Череп уделал как Бог черепаху – тот получил сотрясение мозга. Драка случилась ночью, в бытовке. Дневальный потом утверждал, что Череп бил Холодца утюгом.

Макс заявил, что поскользнулся на мокром кафеле. Полежал немного в лазарете, а потом отбыл в Питер, в военный госпиталь, и больше в часть не вернулся. Говорили, устроился там в обслуге, в банно-прачечном отделении.

Странно, но Черепу за это от старых почти ничего не было – навалили, по обыкновению, в туалете после отбоя, но больше для проформы.

Сам Череп парень сильный, с немного свиным лицом, но не глупым и безвольным, как у Криницына. Близко посаженные глаза и тонкий, чуть загнутый книзу нос выдают в Черепе человека жесткого и упрямого. Быть ему или сержантом, или залетчиком и постояльцем "губы".

Не повезло Бурому – Мишане Гончарову. На свою беду, кроме таланта матерщинника, Мишаня умеет играть на гитаре, чем и решил похвастать перед старыми. Теперь, очумелый от бессонных ночей, разучивает новые песни, пополняет репертуар и готовится к очередному ночному концерту. Так же, за склонность к месту и не к месту рассказывать анекдоты, его зачислили во взводные клоуны, к имеющимся уже там двум шнуркам – Колбасе и Уколу.

Взвод живет в одной казарме с ротой связи.

Связистов называют здесь "мандавохами" за то, что вместо пропеллеров у них в петлицах какой-то пучок молний, действительно похожий на насекомое.

Из моих знакомых к "мандавохам" попали Патрушев и Димка Кольцов.

Сергея Цаплин и Криницын в роте материально-технического обеспечения, МТО. Там же и Ситников. Их всех троих отправили в кочегарку. Там они встретили скачущего Романа.

Видим мы теперь их редко. Пришибленные, даже Ситников притих. Чумазые, в дочерна грязных спецовках.

Вовка Чурюкин в первой роте сразу был определен замполитом в художники. Целыми днями рисовал стенгазеты и боевые листки. По ночам делал старым альбомы. Под глазами – синие круги от недосыпа.

Но это лучше, чем синяки.

Художников ценили, сильно не били.

У первой роты, их казарма напротив нашей, прозвище "буквари".

Командир роты, майор Волк, завернут на соблюдении устава. У каждого его подчиненного в тумбочке имеется подписанный своей фамилией серый томик. Проводятся ежедневные занятия со сдачей зачетов на предмет знания статей.

Козыряют не только офицерам, но и друг другу. При приближении старшего по званию, будь то хоть ефрейтор, переходят на строевой шаг.

Никаких гнутых блях и подрезанных сапог. Все застегнуты на крючок.

Курилка возле их казармы испещрена поэтическими размышлениями на заданную тему.

"Устав знаешь – метче стреляешь!" "О воин, службою живущий! Читай Устав на сон грядущий! И поутру, от сна восстав, усиленно читай Устав!" И почти есенинское:

*"Что ты смотришь, родная, устало,  
Отчего в глазах твоих грусть?..  
Хочешь, что-нибудь из Устава  
Я прочту тебе наизусть?.."*

Поначалу, в карантине, мы мечтали о том, чтобы служить у "букварей". Ну что, тот же карантин, только подольше. Трудно, но жить можно. Главное – нет дедовщины.

Рыцк, прослышав, замахал ковшами своих ладоней:

– Да вы что! Там же смерть! Косите под дураков, в кочегарку лучше проситесь, только не к "букварям"! Я врагу не пожелаю... Нет, вот Торопову – пожелаю! Ему там самое место!

При упоминании Андрюши Рыцк начинал нервно моргать.

Опытный Рыцк оказался прав.

Замордованные уставным порядком солдаты с нетерпением ожидали ночи.

Самая зверская, бессмысленно-жесточая дедовщина творилась именно в казарме "букварей".

Бить старались, не оставляя следов – по животу, почкам, ушам. Почти все бойцы мочились кровью.

Чурюкину, как человеку искусства, доставалось по минимуму. Согнувшегося, его лупили кулаком по шее, чтобы не оставалось синяков.

При этом глаза следовало придерживать, прижимать пальцами. Чтобы не вылетели.

Периодически у "букварей" кто-нибудь так сильно "падал с лестницы", что в часть приезжал военный дознаватель. Бродил по казарме, беседовал, оценивал чистоту и порядок. Сытно обедал и, пьяный вдребадан, уезжал обратно.

Раз, когда рядовой Потоску "поскользнулся в туалете" и лишился сразу пяти зубов, из Питера приехал капитан-особист.

Майор Волк в тот день был дежурным по части. Мы с Пашей Сексом стояли на КПП.

Капитан позвонил от нас в штаб.

– Дежурный по части майор Волк! – услышал он в трубке рокочущий голос.

Капитан замялся, обвел нас глазами и пискляво произнес:  
– Это капитан Заяц, из прокуратуры.  
На обоих концах провода пауза.  
– Что, правда, что ли, Заяц?! – оправился первым дежурный.  
– А что, правда, Волк? – неуверенно пропищал капитан.

Капитан Заяц оказался человеком въедливым, проторчал в части несколько дней. Новая серия "Ну, погоди!" – острили в полку. Заяц заставил майора понервничать, подолгу беседуя с каждым солдатом в отдельном кабинете за закрытой дверью. Но и он в конце концов уехал ни с чем.

Это в мультфильмах зайцы такие ушлые.  
В жизни все совсем наоборот.

Когда наш взвод проходит мимо других рот, например, в столовую, отовсюду слышится лошадиное ржание: "Иго-го! Пошла конюшня сено жевать!" Или звонко цокают языком, изображая стук копыт.

Причина проста.

До Воронцова, который получил взвод полгода назад, командовал здесь некто прапорщик Гуляков, по кличке Гулливер.

Прозвище свое Гулливер оправдывал сполна – росту в нем было два метра семь сантиметров. Длинное, рябое от оспинок лицо, мелкие и короткие кудри, голубые глаза убийцы.

Два раза в месяц Гулливер страшно напивался и крушил все, слоняясь по военгородку. Справиться с ним никто не мог. Из основания избушки на детской площадке прапорщик вытягивал длинное бревно и, размахивая им как палкой, отгонял патруль.

Побуянив, Гулливер сдавался сам, покорно давал себя связать и отправлялся на гауптвахту, которую охраняли его же подчиненные. В камере, понятно, он не сидел. В караулке, не разрешая включать телевизор, грустно отпивался чаем и читал наизусть стихи Есенина.

В конце концов его сняли со взвода и отправили заведовать столовой.

Там он неожиданно подобрел и успокоился, но не совсем, конечно.

С легендарным этим человеком мне удалось завести приятельские почти отношения.

На втором году службы, во время очередной отсидки Гулливера на «губе», я принес ему несколько привезенных из отпуска книг. Только что вышедшие сборники – Клюев, Кольцов, Заболоцкий, Северянин... Цветаева, еще кто-то там...

Манерные "ананасы в шампанском" Гулливер отверг сразу. А вот Клюев, и как не странно, Пастернак пришлись ему по душе.

Почти каждый вечер я заходил к Гулливеру в столовую, и за миской вареного мяса рассказывал ему об обериутах и маньеристах, серебряном веке и ремизовской школе...

Задумчиво слушая, Гулливер время от времени прерывался, как он говорил, "на раздачу пиздюлей" поварам и наряду.

Затем возвращался, усаживался напротив, и если я забывал, напоминал, на чем мы остановились.

В бытность свою еще командиром взвода охраны, прапорщик Гуляков личный состав подбирал себе по каким-то своим, особым усмотрениям.

Под его командованием служили: рядовые Рябокоть, Чернокоть, Конюхов, Рысаков, Коновалов, Коньков и Конев, ефрейторы Белокоть, Лошак и Жеребцов, сержанты Кобылин и Копытин. Ну и по мелочи – Уздечкин, Подкова, Гнедых... Верховодил всем этим табуном старший сержант с соответствующей фамилией – Гужевой.

Гулливер пытался заполучить и солдата по фамилии Кучер, но того, с медицинским образованием, отстояла санчасть. Гулливер негодовал страшно. Перестал здороваться с начмедом Рычко.

В общем, во взводе не хватало только Овсова, для комплекта.

Половина из лошадиных фамилий уже давно на дембеле, но слава за взводом осталась.

У нас и песня была строевая – про коня.

Длинная, от казармы до клуба доходили, допевая последний куплет.

Пели с чувством, "якая" на хохляцкий манер:

*Як при лужке, при лужке,  
При широком поле,  
При знакомом табуне  
Конь гулял на воле...  
Ты гуляй, гуляй мой конь,  
Пока не споймаю!  
Як споймаю – зауздаю  
Шелковой уздою...*

И целая романтическая история о поездке за любимой.

Ну, и другая еще песня была, для вечерних прогулок.

Печатая шаг, орала во всю глотку:

*Купыла мама конька —  
А коньк бэз нохы!  
Яка чудова ыхрушка!  
Хы – хы! Хы-хы! Хы-хы!*

Вообще, по песне сразу можно было понять, какая рота идет.

Особенно в темноте, на вечерней прогулке. Лиц не видно, лишь прет многоногая масса.

Но ты четко знаешь, кто есть кто.

Если вопят про стальную птицу – это "буквари". Если "батька Махно" из группы "Любэ" – рота МТО пошла. "Мандавохи" любили из Цоя – про группу крови или пачку сигарет. Вторая рота – в ней больше всего москвичей – "Дорогая моя столица! Золотая моя Москва!" Как ты там без нас, Москва-матушка?..

Старики обычно идут сзади, не поют. Покуривают в рукава и пинают впереди идущих бойцов.

Но иногда, под настроение, или если строй ведет Ворон, могут и попеть вместе с нами.

Правила пения простые.

Петь надо громко. Желательно, чтобы рот открывался на ширину приклада.

Всего делов-то.

В репертуаре обычно несколько песен.

Те же "буквари" часто исполняют про дурака-солдата, у которого выходной и пуговицы в ряд. Ему улыбаются девушки, а он знай себе шагает по незнакомой улице.

Изредка, правда, "буквари" бунтуют, и горланят на тот же мотив:

*У солдата выходных*

*Не было и нет!  
Эту песню просто так  
Выдумал поэт!  
Часовые у ворот  
Мерзнут и дрожат.  
Как сурово нас ебет  
Товарищ старшина!  
Товарищ старшина!*

Зам командира полка, подполковник Порошенко, за характер и внешний вид получивший кличку Геббельс, вечернюю прогулку обожает.

Является на центральную аллею, берет под козырек и приветствует проходящие строевым шагом роты. Если прохождение не нравится, разворачивает и прогоняет по новой. И еще раз. И еще.

– Здравствуйте, товарищи!

– Здра-жлам-тащ-падпаковник!

Дождь ли, ветер, или мошкара, забивающая глаза, ноздри и рот, – если Геббельс пришел, прогулки не миновать.

Зловещая сутулая фигура на посту.

Ну неужели нечем больше заняться, думаю я, глядя на его свисающее из-под фуражки лицо. Взрослый человек... Дома семья ждет...

Меня ведь тоже ждут. Но мне до дома – как до Луны.

## 2.

Климат странный, гнилой какой-то. Болота кругом. Вечная сырость. Сушилки не работают, утром натягиваешь на себя холодные влажные тряпки.

Порежешь палец – месяц рана не заживает. У всех поголовно – грибок на ногах.

Кто-то из второй роты подхватил лобковых вшей. Причем не от девки, а через выданные в бане трусы. Теперь, прежде чем надеть сменку, разглядываем каждый шов.

Привыкаешь к особому языку. Начинаешь "шарить" и "рюхать", стараешься не "тормозить". Не "залетать" и не "влезать в залупу". Знаешь, что такое "тренчик" и "чипок".

Привыкаешь, что человека зовут, скажем, не Сергей Иванович, а "товарищ капитан". А когда тот получает майора, какое-то время путаешься и зовешь его по-старому, капитаном. И кажется тебе, что человек взял и сменил себе имя.

Обнаружил, что забыл, как называется в университете должность главного человека на кафедре. Полдня вспоминал. Ну не может же быть, чтобы "начальник кафедры"... Так недалеко и до того, чтобы декана "командиром факультета" назвать.

От постоянного общения с хохлами замечаю, что начал "шокать". "Шо? А цэ шо? А вин тоби шо казав?" – раздается весь день вокруг и начинает проникать в тебя, хочешь ты того или нет.

Мат вообще въедается в речь намертво, и я немного беспокоюсь, как я буду общаться с людьми на гражданке.

Встречаются мастера жанра, но в основном – грязная бессмысленная ругань. Некоторые слова слышу впервые. Из обновленной коллекции: "пиздопроебина", "трибучий блядохуй", "промандоблядь", "хуепутало", почему-то обязательно еще и "грешное".

В армейском языке огромное количество аббревиатур разного типа. ОЗК, КПП, ГСМ, ПХД, БПП... Начпо, помдеж, начхим, оргзанятия:

– Товарищ подполковник, разрешите обратиться!

Замполит полка подполковник Алексеев, ждущий в нашей курилке командира роты МТО, недоверчиво косится на нашего взводовского клоуна Укола. Обычно солдаты замполита избегают. Не тот это человек, с кем поговорить хочется. Хам, сволочь и "гнида подзалупная".

На общеполковых собраниях Алексеев призывает нас, невзирая на разницу в званиях, чувствовать в нем друга и старшего товарища. Заходить к нему в приемное время, если кому надо поговорить по душам. Попить чайку даже.

Алексеев – человек выдающийся. У него выдается все – пузо, жопа, лоснящаяся круглая рожа: Воняет от него постоянно то водкой и луком, то чесноком и одеколоном.

– Слушаю вас, товарищ солдат.

Все находящиеся в курилке замирают.

– А почему ваша должность неправильно называется?

Алексеев собирает на лбу одинокую складку и вкрадчиво произносит:

– Разрешите вас не понять?

Уколов того и ждет:

– Ну вот есть заместитель коадира полка – замкомполка, если заместитель по тылу – зампотылу, есть заместитель по вооружению – замповооружению: Так? А вы заместитель командира по политическому воспитанию. Должны быть – замполвос. Или хотя бы замполит:

Алексеев минуту сидит молча, размышляя. Затем его осеняет:

– А пошел-ка ты на хуй, товарищ солдат! Три наряда вне очереди!

Замполит "мандавох" старший лейтенант Сайгаров, Сайгак.

Читает роте политинформацию.

– Долго, годами, веками, столетиями человека занимал, волновал, беспокоил вопрос об устройстве, так сказать, строении и структуре нашего мира, мироздания, нашей вселенной, одним словом, всего Космоса. Войска, в которых вам выпала честь служить, или, лучше сказать, проходить воинскую службу, носят название, а точнее, именуются Военно-Космическими силами. Для чего они нужны, необходимы, для чего они требуются нашей Отчизне, нашей Родине, нашему государству? Это главный, ключевой, основополагающий и коренной вопрос нашей с вами сегодняшней лекции, или, если быть точным, политинформации...

Все это Сайгак монотонно бубнит, перебирая какие-то мятые бумажки.

Сам замполит длинный, тощий и унылый.

"Мандавохи" впадают в транс, прикрывая глаза и кивая головами. Сайгак, не делая замечаний, аккуратно записывает фамилии спящих в свою тетрадку и докладывает потом ротному.

По внеочередному наряду каждому обеспечено, но сил противостоять бубнежу замполита нет.

Интересно – все говорят "поставь" вместо "положи". "Поставь письмо на тумбочку!" "Тетради, ручки – ставим в сторону и строимся на обед!" – командует в ленинской комнате Старцев.

Иногда говорят "поклай". "Поклай сюды пилотку". Но так говорят интеллигенты, которые знают, что неправильно говорить "ложить", надо – "класть".

– Где мои ножницы? – с тревогой спрашиваю я Костюка.  
– Яки? – искренне удивляется тот.  
– Я тебе дам, блядь, яки! Таки, которые утром взял у меня! – замахиваюсь я на Сашко локтем. – Не дай Бог, проебал! Убью!

Минуту Костюк напряженно думает. Радостно улыбается:

– Так я тоби их пид подушку поставыл!

Мне представляется картина.

По команде "отбой" я прыгаю в койку, опускаю голову на подушку, и в мой мозжечок с хрустом входят лезвия вертикально стоящих парикмахерских ножниц.

Откидываю подушку и вижу под ней ножницы. В целости и сохранности. Мирно лежащие.

– Как это ты их не проебал? – теперь моя очередь удивляться.

– Вот! – еще радостней улыбается Сашко.

Проебал он их в следующий раз.

Зато через год у него уже был целый набор – от щипчиков для ногтей до украденного где-то садового секатора.

Секатором любит стричь ногти на ногах Василий Иванович Свищ.

По призыву Свищ старше нас на полгода, то есть шнурок. Однако по возрасту старше всех – ему двадцать четыре года.

Призвался он с какого-то глухого хутора Западной Украины. Настолько глухого, что только в армии Вася первый раз в жизни увидел телефон. Он знал, конечно, что это за штука и для чего она, но вот увидел впервые.

У себя на хуторе Вася занимался суровым и тяжелым крестьянским трудом.

Несколько лет ждал повестки. Потом ему это надоело и он сам добрался до военкомата.

Там только развели руками, извинились и выписали военный билет.

Физической силы Вася Свищ необычайной. Запросто раздавливает одной рукой банку сгущенки. Плоскую батарейку "Элемент" сминает в гармошку. Бляху ремня сгибал и разгибал тремя пальцами.

Прапорщик Воронцов в Васе души не чаёт. Называет уважительно Василием Ивановичем. Сватает в сержанты.

– Та ни... Нэ хочу... – всякий раз качает головой Свищ.

Перед заступлением в наряд Вася идет в чипок и покупает полтора килограмма карамелек.

За сутки съедает весь пакет.

Если конфет вдруг нету, может есть все что угодно.

Однажды спокойно съел пачку сухих макарон. Просто отламывал и жевал, запивая дегтярной крепости чаем. Чай он пил из двухлитровой банки.

Повара ему не жалеют каши, и Вася осиливает по пять-шесть порций.

Правда, после этого в течении получаса беспомощен, как остриженный Самсон.

Вася снимает с себя ремень, и волоча его за собой, плетется в казарму. Едва одолевает лестницу на второй этаж, затаскивая себя по перилам. Добирается до своей койки и с размаху плюхается на нее спиной.

Эта привычка хорошо всем известна.

Однажды ему под пружины койки поставили табуретку.

Табуретка одной высоты с койкой. Даже чуть приподняла провисшие пружины. Но ни с боку, ни с верха ничего не заметно.

Входит Василий Иванович.

Взвод и "мандавохи" замирают. Все делают вид, что занимаются своими делами.

Василий Иванович кладет ремень, поворачивается к койке спиной...

Падает...

Ы-ы-ыхх!

Раздается ужасный хруст.

Вася лежит неподвижно.

– Все, бля, пиздец! – произносит кто-то.

Тут Вася поворачивается на бок, свешивает руку с кровати и принимается шарить под ней.

– Кажись, шо-то сломав... – задумчиво так говорит и извлекает ножку от табуретки.

Так ржали, что к нам заглянули из роты снизу: что у вас происходит?..

Зимой, когда Вася стоял в наряде на КПП, над ним подшутили так.

Перед КПП – огромная асфальтовая площадь. Летом и осенью ее подметают, а зимой, соответственно, расчищают от снега.

Простой лопатой тут не справиться, площадь большая.

Поэтому имеется специальный, удлиненный скребок для двух человек. Один берется за одну ручку, второй за другую, и поехали...

Впереди, сбиваясь слоями, нарастает и тяжелеет с каждой секундой, с каждым пройденным метром, снежный вал... Хватаешься за самый конец ручки, весь подаешься вперед, наваливаешься грудью...

Вася запросто управлялся таким скребком в одиночку.

Поглазеть на это останавливались даже офицеры.

Ребята из роты МТО не поленились и изготовили еще один скребок. Только ковш сделали из куска стали миллиметров пять толщиной, а вместо ручек приварили два огромных лома.

Васин скребок украли, а на его место прислонили к стенке новый.

Вышел Вася. Удивленно осмотрел новый инструмент. Даже ощупал.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.